W 249
1023

М. СИВАЧЕВ

ФЕДОР БЫЛЬНИКОВ

РОМАН

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД · 1924

W 249/1023

W 249/1023

М. СИВАЧЕВ

ФЕДОР БЫЛЬНИКОВ

(РОМАН)

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД
1924

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ имени ИВАНА ФЕДОРОВА ЛЕНИНГРАД Звенигородская ул. 11

Государственная ордена Ленина БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА
70613

ГЛАВА I

Председатель Губисполкома Петр Кузовков твердыми шагами ходил по своему кабинету и, видимо, волновался.

До революции он был сельским учителем. И если бы не революция — спился бы он от этой безрадостной доли, какая ждала сельского учителя во времена самодержавия, или ушел бы туда, куда Макар телят не гонял; теперь, на третьем году Октябрьской революции, был председателем губисполкома, 28-летний крепыш, среднего роста, широкий в плечах, с блеском стали в больших серых глазах — неутомимый, подвижной, решительный.

Он кипел и горел в работе непрерывно и того же требовал от других. Его губерния по работе отмечалась центром, как одна из первых.

Но не все ладно было и у него.

В одном из уездов, в крупном железнодорожном узле, происходил затор: идут ли на фронт воинские части, идет ли продовольствие для армии и населения — непременно все застрянет в этом железнодорожном узле.

— Почему? — спрашивал Кузовков.

И получал один и тот же ответ:

— Поворотный круг там не годится. Нужен новый.

— А этот исправить нельзя?

— Все специалисты говорят, что нельзя. Надо отнестись в центр, чтобы оттуда выслали новый.

— Товарищи, легко сказать — новый круг! — сердился Кузовков: — до этого ли теперь центру, чтобы присылать нам новые круги. Революционная энергия, по-моему, должна уметь из ничего, на пустом месте создавать все, а тут какой-то поворотный круг, который нельзя заставить работать. К чорту!

И он послал еще несколько надежных испытанных работников с тем, чтобы история с непослушным поворотным кругом была во что бы то ни стало покончена. Но эти работники вернулись с тем же заявлением:

— Нужен новый круг!

А тут Деникин лезет. Уже к Царицыну подходит. Не выдержал Кузовков и поехал в железнодорожный узел сам.

Прибыл утром и тотчас же потребовал к кругу начальника депо. Явился человек лет 45, крупный, породистый, с красивой проседью, в черной большой бороде, осанка-министерская.

— Почему у вас с кругом такая история? — сразу с места в карьер спросил Кузовков.

Почтительно изогнулся начальник депо и вежливо стал давать об'яснения:

— Очень стар этот поворотный круг. Его давно следовало сменить. Но все-таки он кое как работал до тех пор, пока у него не прогнулась эта верхняя ферма. — Видите?

Кузовков внимательно поглядел на ферму: действительно в середине и слегка по краям прогнута.

— Неужели только от этого?

— Только от этого.

— Но почему же иные паровозы проходят этот круг благополучно, а иные летят?

— А это зависит от того, как паровоз встанет на круг. Если паровоз встанет так, что в прогнутой ферме сохранится приблизительно равновесие, паровоз обернется благополучно. Если же нет, он свалится.

— А починить круг местными средствами нельзя?

— Никак нельзя! Нет для этого ни подходящего материала, ни подходящих приспособлений. Что-нибудь одно из двух: или круг в разобранном виде отправить на ремонт в соответствующие заводы, или поставить новый. Мне самому крайне неприятно, что такие истории случаются именно в моем депо.

Прошло два дня. Круг работал хорошо. А на третий день, когда на Царицын пошло продовольствие, снаряды, красноармейцы — опять свалился паровоз.

Кузовков согнал из ближайших деревень сотни две крестьян и паровоз вместо трех дней был поднят в один день.

Починили круг, а через несколько часов починки — та же история.

Весь узел забился всякими эшелонами, и стоят эти эшелоны на станциях, на запасных путях. Кузовков был вне себя от бешенства, но видит, что начальник депо хлопочет по под'емке паровоза усердно, весь в поту, часто делает то, что делает простой чернорабочий, и сдерживался.

А из центра летят телеграммы с требованием немедленно устранить эти заминки. А как их устранить? Может быть, и прав этот начальник депо: нужен новый поворотный круг.

Видит Кузовков одного слесаря. Все работают, суетятся, а он стоит пригорюнившись — даже руку, как баба, к щеке приложил.

Подошел к нему.

— Ты лодырничать, что ли, вздумал?

— А чего работать-то?

— То, что работают все. Разве не понимаешь, какой от этого вред?

— Понимаю. Да только надоело эту волынку тянуть.

— То-есть, это как? — грозно уставился на него Кузовков: — ты лодырничать, что ли, вздумал?

— Да нет. Не в этом дело! Дело в том, что тут надо подумать. Был этот круг, правда, плоховат, да работал — паровозов не кувыркал. А как распорядился несколько месяцев тому назад наш начальник его проремонтировать — он после ремонта и начал паровозы кувыркать. Почему? Отчего? Я уже просил начальника, разрешите посмотреть круг — в чем, мол, тут причина? Да куда же — как рыкнет: не лезь, мол, в дело, которого не понимаешь! Вот от этого мне и не хочется эту волынку тянуть. Я даже заметил: как поворачивается круг полегоньку с паровозом — так обойдется благополучно, а как нажмут покрепче — завизжит, заскрипит, а потом и паровоз на бок!

Посмотрел Кузовков на слесаря: длинная орясина, лицо в веснушках, волосы на голове рыжие, в глазах — большая хитрость и большая сообразительность.

— Сколько лет?

— Тридцать минуло с тех пор, как мать родила, будь она не ладна. Не просил ее об этом.

— Как звать?

— Федор.

— Фамилия?

— Быльников.

— Ладно, Федор. Я с тобой потом поговорю.

Когда паровоз был поднят. Кузовков позвал Федора.

— Думал я, Федор, над тем, что ты мне сказал, и решил: осматривай круг и делай с ним, что хочешь! Поправишь, награжден будешь; не поправишь и время упустишь зря — отвечать будешь.

Обрадовался Федор.

— Отвечать согласен, а награды не хочу. Хочу только одного, чтоб людей мне дали, сколько потребуется, да чтобы никто мне не мешал и не перечил.

— Хорошо. Берись за дело.

Взялся Федор. Облазил весь круг. Осмотрел и ощупал каждую мелочь, каждую заклепку. Начальник депо два раза к кругу навертывался и со скрытой усмешкой снисходительно смотрел на Федора. А когда третий раз навернулся и увидел, что Федор рассматривает пристально рельсы под кругом — побледнел и быстро пошел прочь.

— Надо бы за ним глаз иметь, — шепнул Кузовкову, Федор.

— Ты хочешь сказать, чтобы он был арестован?

— Арестовать еще рано, а поприглядеть за ним, чтобы он лататы не задал, следует.

Кузовков двум агентам чека дал наказ следить за начальником депо по пятам.

Осмотрев под кругом рельсы, Федор повел горячую работу по перекладке их. Через шесть часов эта работа была кончена. Круг многократно был испытан несколькими паровозами — и испытание прошло блестяще; ни один паровоз не кувыркнулся.

Кузовков обнял и поцеловал Федора:

— Говори, какую хочешь награду? Ты понимаешь, что за услугу оказал рабоче-крестьянской власти.

Федор был спокоен.

— Понимаю. Пойдут теперь наши эшелоны крошить белогвардейцев. Как не понимать? А награда — позволь мне первому сказать этому фрукту, что он арестован.

— Только - то! — засмеялся Кузовков.

— Для меня это много!

Было уже за двенадцать ночи. Прямо от круга Кузовков и Федор отправились к дому начальника депо. Около дома уже дежурили не два агента, а шесть.

— Как дела? — спросил Кузовков старшего: — Не ускользнул ли голубчик?

— Куда ему деться? А, наверное, думал улизнуть. Раз вышел сам, да увидел нас и вернулся. Потом жена его выбегала, потом прислуга — за провизией им, будто, надо куда-то.

Постучали раз, два, три — раз от разу крепче. Никто не отзывался.

— Притворяются, что спят. Какого чорта с ним церемониться! — свирепо бросил Федор и налег плечом на дверь так, — дверь затрещала.

И сейчас же из-за двери раздался нежный голосок:

— Люди добрые, что надо?

— Отворяйте! С обыском!

— С обыском? Так и скажите, зачем же двери ломать. Мы не воры, и нам обысков нечего бояться.

И дверь отворилась.

В доме обшарили, обнюхали все углы. Налицо жена начальника депо, прислуга, а его самого нет.

— Куда девался ваш муж? — спросил Кузовков жену начальника.

— Он мне не сказал, куда пошел.

— Не мог он никуда уйти, потому, что мы следили, — возразил агент чека.

Опять обшарили все углы, включительно до чердака и подполья. Результат все тот же, нет начальника.

С самого начала Федор в поисках не принимал никакого участия. Только следил за тем, как и где роются другие. Теперь он решил, что пришла его очередь действовать. С улыбкой он обошел вновь все три комнаты и остановился в одной, около книжного шкапа.

Ноздри его раздувались, голова была наклонена вперед, лицо вытянулось — похож он был в это время на собаку-ищейку, что-то вынюхивающую. Потом отодвинул от стены шкап. За шкапом открылась такая же стена, как и вне шкапа. Особенностью этой комнаты было то, что не только пол, но и стены ее были обиты линолеумом.

Федор извлек из кармана складной аршин. Промерил все три комнаты, приняв во внимание разницу стен. Затем вышел на улицу и минут через десять вернулся с заявлением:

— Наружный дом имеет по фасаду на полтора аршина больше, чем внутри. Значит, есть тайничок. И есть вот именно в этой стене, у которой шкап стоял. Поищем!

Смотрит Федор на стыки линолеума там, где стоял шкап. И подогнаны стыки по всей комнате так аккуратно, — нигде разницы не видно.

Кузовков и чекисты стали терять терпение.

— Чего там рассматривать? Обдерем всю стену — беда не ахти, как велика. А там — виднее будет.

А Федор упорствует:

— Комнату не надо безобразить. Ободрать — легко. Ты вот без этого найди — это поинтереснее.

И он нашел: между полом и стеной находилась искусственно замаскированная кнопка. И когда Федор ее нажал внутрь стены быстро, но почти бесшумно, открылась дверь. Оттуда глянула темная пустота.

— Выходи! — крикнул в эту пустоту Кузовков.

Оттуда — ни звука, ни шороха.

— Господин начальник, — подал свой голос в эту пустоту Федор:—Я, Федор Быльников, слесарь депо, которым вы заведывали, приказываю вам: выходите добровольно! А не то — хуже будет.

Вновь — ни звука, ни шороха.

Чекисты предложили Кузовкову такой план: взять начальника измором — дежурить у двери до тех пор, пока сам не выйдет.

Кузовков этого плана не принял.

— Ерунда! Надо придумать что-нибудь другое.

Не понравилось и Федору.

— А если он там три дня будет сидеть. Со скуки можно умереть.

Кузовков нашелся.

— Вот что. Мы сейчас погасим в комнате свет, чтобы ему не видно было цели, а в эту дыру наставим наган и предложим сдаться. Если после этого, негодяй, не сдастся — мы его даже в темноте изрешетим.

И тотчас же из пустоты глухо и злобно раздалось:

— Не трудитесь свет гасить. Сдаюсь и выхожу.

Начальник депо вышел. Чекисты, приказав поднять руки вверх, бросились обыскивать его, но ни оружия, ни бумаг при нем не оказалось.

Тогда Федор важно подошел к нему и, расплываясь от радости в улыбке до ушей, торжественно об'явил:

— Именем его Величества Революционного Пролетариата об'являю вас арестованным! Будете знать, как поворотные круги портить, когда вас к стенке приставят.

Федор был серьезен в высшей степени в этот момент, но и комичен, помимо своей воли настолько, что нельзя было глядеть на него и не расхохотаться.

И Кузовков расхохотался. Смеялись и чекисты.

— Будь бы у меня оружие, я тебя, рыжая собака, в живых не оставил бы! — бросил со злобой Федору арестованный и, переходя на вежливый тон, обратился к Кузовкову: — Разрешите мне проститься с женой.

— Можете, — холодно ответил Кузовков.

Арестованный поцеловал жену раз, два — та залилась слезами, ахнула и упала в глубокий обморок. Бывший начальник депо повернулся к Кузовкову и твердо отчеканил:

— Я готов!

Кузовков отдал его в распоряжение чекистов:

— Отведите его в комитет партии. Завтра его отправим с моим донесением в центр, как важного преступника, который, наверняка, действовал не в одиночку.

Арестованного увели. Кузовков взглянул на лежавшую в обмороке женщину и поморщился:

— Не люблю с бабами возиться, а что, поделаешь надо допросить.

— Эту не стоит! — и Федор решительно махнул рукой: — Я уж к ней приглядывался. Она не наша, конечно, нутро у ней белогвардейское, это правда, но и на опасную бабу она тоже не похожа.

— Как не похожа? А мужа скрывала.

— А какая баба не будет скрывать, если любит своего мужа?

— Ишь ты... Ну, и психолог ты, Федор! — улыбнулся Кузовков: — значит, по-твоему, не стоит ее арестовывать?

— Не стоит. Может, она про мужа что и знает, да не скоро скажет. Лучше уж мы как-нибудь другую ниточку найдем!

Кузовков посмотрел на Федора и рассмеялся. Очень уж ему стал нравиться этот орясина, и он решил сделать ему уступку.

— Вот что, Федор. Сделаю по-твоему: оставлю даму в покое. Но какой у тебя дальнейший план действий?

— План — у меня? А вот завтра, товарищ, я приду к тебе в комитет, и ты увидишь, какой мой план. И Федор так хитро прищурился, что Кузовков поверил, что у этого длинного верзилы план, видимо, уже есть.

Они крепко простились и пошли по домам.

ГЛАВА II

На следующий день, часов около 12 дня, когда Кузовков только что покончил с отправкой арестованного в Москву, ему доложили, что его желает видеть какой-то нищий.

— Какой нищий? Гоните к чорту! Терпеть не могу нищих.

— Гнали. Никак невозможно прогнать.

— Дайте ему в шею — он и уйдет.

— И в шею дать нельзя. Такой уж нищий.

— Что за чорт! Ну, покажите его. Я с ним расправлюсь иначе, чем вы.

Ввели нищего. В длинном, широком, рваном рубище, в рваном треухе, из-под которого выбивались косицы

седых волос, с желтым, как охра, лицом, этот нищий был бы, как многие нищие, — грязен, неопрятен, неприятен, если бы не его лицо и голова.

Лицо его непрерывно подергивалось мелкими мучительными движениями, а голова так жалко и беспомощно тряслась — большего страдания человеческого существа нельзя было себе представить.

И заканючил он странным тоном: и слезливые, поющие нищенские нотки и еще что-то такое твердое, сурово напоминающее, что и он человек и требует к себе человеческого отношения.

— Господин товарищ... Сделайте божескую милость... войдите в мое положение.

— Это еще что за мода, — крикнул сурово Кузовков: — Я тебе покажу „господина товарища“. Смотри, не на такого напал. Говори короче, что надо?

— Паек бы мне!...

— Какой паек? За что?

— Как за что? Бедному больному человеку. Я тебе, господин товарищ, вот что скажу... Только люди вот здесь мешают...

Кузовков выслал человека.

— Ну, говори.

Нищий приблизился.

— Я скажу... скажу...

И вдруг лицо его задергалось еще сильнее, голова так затряслась, закачалась — Кузовков почувствовал, что этот нищий ему и омерзителен, но вместе с тем он и во власти его.

Захотелось выкинуть все деньги, которые у него имелись, лишь бы не видеть этого нищего. И он полез в карман, вытащил бумажник, в котором было немало денег.

Отдать их все первому какому-то нищему было бы нелепостью, но нищий точно гипнотизировал, и Кузовкову думалось: „Чорт с ним. Такому несчастному можно бросить“.

И отделив себе небольшую сумму, Кузовков бросил деньги на стол:

— Бери и уходи! Надеюсь, для тебя будет достаточно.

— Благодарю, благодарю. Добрый ты, господин товарищ! — канючил нищий: — Только вот еще что: мы ведь с тобой свои люди...

Кузовков взглянул на нищего: никогда никого подобного в жизни не встречал.

— Какие такие „свои люди“. Получил и уходи. Мне нет времени с тобой балясы точить.

— Не узнаешь, значит? Хе, хе, хе.

Остановилась твердо у нищего на одном месте голова, снялся треух, за треухом — седой парик и перед Кузовковым стоял рыжий Федор.

— Ловко? А?

Кузовков вскочил.

— Федор, ты? Да не может быть, чтоб я тебя хоть чуточку не узнал. Где у меня глаза были? Странно! И зачем тебе понадобилось так вырядиться?

— Зачем? — и Федор присел к столу: — А для того плана, про который вчера речь вели.

Кузовков превратился весь в слух и внимание.

— Дело-то вот какое... — начал Федор: — К этой птице, которую мы вчера словили, часто приходила одна бабенка. Молоко приносила. И одета, как бабенка: в лапотках, в зипуне, платочек на самые глаза надвинут. А я как увидел ее впервые, как рассмотрел, что это за красотка — ух и красотка! Так и подумал: не может быть, чтобы это была деревенская баба. Не иначе, как выхоленная дворяночка. А маскарад ломает, затем — видно надо ей это. Ну, меня, конечно, подмыло. Надо, мол, выследить: кто такая, откуда? И выследил. Верстах в семи тут большое имение. Теперь — совхоз. Так вот она, значит, теперь в этом совхозе и живет. И молочко оттуда начальнику депо доставляла. Дорого было молочко! Барынькины ноги, конечно, семи верст вынести не могут — так для нее из совхозика и лошадку давали. Довезет ее лошадка до такого места, откуда до начальника с полверсты — лошадка останется в лесочке, а барынька возьмет две небольших криночки и тихим шажком к начальнику. А мужичок, который ее возит, в лесочке с лошадкой ждет, пока барынька вернется. Рассмотрел я и мужичка. Честь честью мужичок: и лапотки, и зипун, и рубашка пестрядиная, и борода мужицкая — лопатой, — да меня не проведешь!.. Вижу — бывший золотопогонник.

— Почему думаешь — золотопогонник? — не выдержал Кузовков.

— А потому... меня не обманешь. Выправка у него — военная, шаг — твердый.

— Так... так... — протянул Кузовков: — Ну, а дальше что?

— А дальше вот что. Пойду-ка я сегодня в этот совхоз. Разузнаю, разнюхаю, что там за люди. Для этого вот и переоделся. Может, дня три там пробуду.

— Так, так... — вновь протянул Кузовков: — Над этим делом, Федор, действительно, надо поработать. Место тут глухое, темное, лесистое, а чекисты здешние, как я на них посмотрел, — народ дубоватый. Как чуть что потоньше — так им и не разобраться. Люди все от сохи, да от бороны. А тут, может быть, такая контрреволюция гнездится...

— Да в этом уж я уверен! — прервал Федор.

Кузовков любовно взглянул на Федора.

— Ты-то уверен, да только как быть мне? Я ведь, брат, председатель губисполкома и обязанностей у меня — уйма. Одних бумаг часов на шесть подписывать. Потом заседание. Иной день часов по пятнадцати торчишь в своем кабинете. Глаза на лоб лезут.

— А ты брось кабинет-то, — советовал Федор: — разомнись-ка тут со мной. Бумажки там за тебя кто-нибудь подпишет. Я на твоем месте от кабинета давно бы умер.

— А и в самом деле... ну, и искуситель ты, Федор. — Кузовков засмеялся, тряхнул головой, написал телеграмму, в которой назначил себе в губисполкоме заместителя, и сказал Федору: — Я, брат, записываю тебя в Коммунистическую партию.

Федор поскреб в затылке.

— Вали, если хочешь. А по мне, хоть и этого не надо. Я беспартийным могу работать. Наш брат рабочий, ежели который с головой, лет с шести коммунист. Я еще пешком под стол ходил, а уж думал: кто есть

наши захребетники? Почему им, белоручкам — все, а нам, кто работает, — шиш с маслом? Скажи-ка, товарищ, чтобы мне выдали браунинг, а потом удостовереньице такое: разрешается, мол, крестьянину Семену Ивановичу Соломкину, в виду его болезненного состояния, прокармливать себя подаянием.

Кузовков отдал распоряжение немедленно выдать то и другое. Получив браунинг и бумажку, Федор запрятал их в своем рубище, одел парик, треух и, выходя, дружески Кузовкову бросил:

— Жди, значит, Петруша, меня с докладом дня через три, может, задержусь и подольше. А ты в таком случае не смущайся. Я не только из воды — из масла сухим вылезу.

Через четыре дня Федор вернулся поздно вечером и делал доклад Кузовкову.

— Так, Петруша, было дело. Денек я поболтался среди мужиков. Ночевал в одной избе и там от бабенок выведал все, что они о совхозе знали. Компания там вот какая. Первым делом — заведующий совхозом там состоит бывший поп, у которого верстах в пятидесяти отсюда тоже было немалое именьице.

— Не может быть, что поп! — усомнился Кузовков. — Почему поп? Как уземотдел допустил?

— Поп настоящий! А как уземотдел допустил — это уж я не знаю. Знаю только, как крестьяне говорят. Был прежде в совхозе заведующий из мужиков: делать ничего не делал — только пьянствовал. Тащили при нем из совхоза все, кому только не лень. А совхоз, брат, богатейший: восемь тысяч десятин чернозему, добра всякого в доме — не в проворот. Помещика именьице-то было, который при дворе каким-то камергером состоял. Кончил этот заведующий мужичок тем — опился! Назначили другого — тоже из своих. Ну, и этот оказался не на месте. Хозяином еще себя не показал, а про свой карман, должно быть, твердо помнил: продал тысячу пудов совхозского овса и такой себе домище в два месяца своротил — никогда такого дома в деревне не видели. Вот тогда уземотдел и вмешался. Выгнал этого заведующего, а на его место — бывшего попа. Ваши,

говорит, заведующие — воры, лентяи и пьяницы; посадим теперь не вашего — может, лучше будет ваших. Ну, надо сказать: поп, по словам самих мужиков, хозяйство ведет не плохо. С мужиками ладить старается.

— Еще бы, — усмехнулся Кузовков. — Ну, а комитет бедноты на это как смотрит?

— Что комитет бедноты? Кулаки там сидят. Вот, при попе-то, когда он немножко обжился и поосмотрелся, и началось. Прежде приехал этот золотопогонник, который барыньку к начальнику возил; потом прибыла барынька. И устроились в совхозе так: золотопогонник — конторщиком считается, а барынька — подойницей. Доят, конечно, за нее бабы, а она как будто присматривает. А, кроме этого, навещают совхоз еще разные неизвестные люди.

Приедут неизвестно откуда, поживут в совхозе денек-другой и исчезнут неизвестно куда.

— Еще что, Федор?

— Еще — много добавлю. Пошел я на другой день к совхозу — сижу неподалеку от него. Денек хороший, солнышко пригревает — думаю: в поле пойдут гулять! Так и вышло. После обеда, должно быть, вышла барынька с золотопогонником, идут в поле и не по-русски болтают. Я к ним: подайте, мол, на пропитание. Ну, золотопогонник сразу на меня рыкнул: пошел к чорту. А она сжалилась: — Какой ты, говорит, дедушка, несчастный. Кто ты такой? Почему у тебя голова так трясется? — Из крестьян, мол, дорогая барынька, я. Был житель, да ограбили большевики до-тла — вот с тех пор затряслась моя головушка. — А куда, говорит, идешь?

— Да куда мне итти? Где день, где ночь — вот жизнь моя. — Покачала она головой и дала записочку к попу: приютите, мол, на несколько дней несчастного. А поп — хитрый: долго меня разглядывал и расспрашивал, пока согласился денька на два приткнуть меня к конюхам и коровницам. Узнал я кое-что от этих конюхов и коровниц. Золотопогонника зовут — Владимир Николаевич, а барыньку — Вера Васильевна. И только. Больше о них ничего не знают. Спрашивал: зачем, мол,

такие приехали? Ведь не из простых. — Ну, конечно, говорят, не из простых. Сразу видно — дворяне, а приехали затем — на землю сесть хотят. — Что-ж, мол, не садятся? — Да пока, мол, только приглядываются. Сразу, вишь, им трудно. — Верят деревенские головы в такую чепуху. Да еще и хвалят: уж, говорят, такая барыня хорошая, обходительная, ласковая. Брюхо заболит, или голова — сейчас лекарства даст. — Высмотрел я, где они живут. В маленьком флигельке, который в саду находится. Там и всех приезжих принимают. Прислуг никаких при себе не держат. У флигелька дверь с внутренним замком. У каждого из них ключ. Приходят и уходят, когда хотят, когда их никто видеть не может. Я к этому замку присмотрелся: отмычкой можно отпереть. Вот и все.

— Эх, Федор! — воскликнул Кузовков: — Тебе вот не все видно, а мне в своей должности много виднее. Цепкая эта старая, проклятая жизнь. Без борьбы захребетники народные не желают сдаться и вот борются... плетут по всем концам России паутину. Много, брат, этой паутины, но надо ее рвать, рвать беспощадно. Иначе она захлестнет нас. А от них уж пощады, если они нас победят, не жди. Скорее мертвый воскреснет, чем они пощадят! Я думаю, что это дело в долгий ящик откладывать не стоит. Как полагаешь ты?

— Да, как, — надо крыть скорее!

— Кроем завтра в ночь, Федор?

— Идет, по мне, хоть сейчас. Я всегда готов.

Федор заночевал тут же в компарте.

На другой день Федор, Кузовков и восемь чекистов на двух машинах часов в одиннадцать вечера отправились к совхозу. Ехали лесом, не спеша. Майская ночь была теплая, лунная. Кузовков долго молчал, потом вздохнул и спросил Федора:

— Ты женат?

— Нет, и не думаю жениться.

— Почему?

— К чему нищих плодить!

— Да, это верно! — вздохнул Кузовков: — а все-таки, Федор... вот мы едем на опасное дело. Помнишь начальника депо? Человек не военный, а как держал себя! А тут нам дело иметь придется с золотопогонником, с военным рылом. И, может быть, не с одним. И вдруг, Федор, случится, такая штука: сейчас мы живы, дышем вот этим лесным воздухом, а через два часа нас с тобой на свете не будет. Как ты на это смотришь?

— Как? — и Федор весело свистнул: — как говорится-то: терять нам нечего, кроме цепей, а завоюем весь мир. Мне нечего жалеть свою голову. Хорошо я никогда не жил и, наверное, жить не буду. После нас хорошо, может быть, люди поживут. За это вот и повоюем! А о себе — куда уж мне думать.

— Ничего, не унывай! — и Кузовков хлопнул Федора по плечу: — хороший, брат, из тебя коммунист выйдет. Как только здесь отработаемся, возьму я тебя к себе в губисполком.

— Что, бумаги подписывать? — вырвалось испуганно у Федора. — Не пойду!

— Да нет. Найдем для тебя дело повеселее.

— Ну, то-то!

На автомобилях вплотную к совхозу не под'езжали. Остановили их в полуверсте, приказав шоферам по первому свисту подать их, и пошли тихо к совхозу со стороны сада.

Деревня уже спала. Темны были окна и большого дома совхоза. Но во флигеле светился огонек, слабо пробивавшийся сквозь темные занавески.

Перебрались осторожно через забор. Где-то у большого дома совхоза залаяла собака. Федор вытащил из-за пазухи аркан и шепнул Кузовкову.

— Тут четыре собачины — громадные, злющие. Шум могут, проклятые, поднять и испортить нам все дело.

Обождали, когда собака затихла, и пошли, ступая мягко по сочной траве.

Добрались до флигеля. Четырех чекистов Кузовков оставил около флигеля на случай, если из флигеля кто ускользнет. Ловко артистически — слегка цокнул замок и только — отпер Федор отмычкой дверь. Но, вероятно, во флигеле чутко прислушивались ко всякому звуку. Едва только — передовые — Федор и Кузовков, а за ними остальные чекисты с браунингами в руках и с электри-

ческими фонарями, — дошли до второй двери во флигеле, как дверь распахнулась, на пороге показался человек, который тотчас же бросился назад с криком:

— Господа, мы открыты!

— Товарищи, живее! — скомандовал Кузовков, врываясь во флигель, но сейчас же был смят и отброшен к стене ринувшимся, как ураган, Федором. В следующий миг Кузовков услышал и неистово радостный и свирепый рев Федора:

— Именем его Величества Пролетариата вы арестованы!

Раздался выстрел. Вбежал в комнату Кузовков с чекистами и увидел трех мужчин и одну женщину. Впереди всех стоял молодой, но с большой бородой человек в куртке хаки и целился Федору прямо в лоб. А Федор глупо махал своим браунингом и, стараясь схватить рукой бородатого, кричал:

— Не попадешь. Куда тебе? Раз уж промахнулся. У меня тоже такая штука есть, но я тебя живым возьму.

Медлить было нельзя: иначе Федора не станет. И Кузовков выстрелил бородатому в грудь. Бородатый тоже выстрелил, — но пуля пришлась не Федору, а в живот чекисту, повалившемуся со стоном на пол.

Повалился и бородатый, но рука его крепко сжимала револьвер, и пытался наметить себе еще одну жертву.

Чекист выбил у него револьвер из руки. Тогда бородатый оглянулся и, не видя двух остальных мужчин, исчезнувших в следующей комнате, крикнул женщине:

— Вера, Вера, где барон и князь? Низкие трусы! Они даже забыли, что у них оружие есть!

Женщина осмотрелась и... хотела было последовать примеру князя и барона. Но одним прыжком Федор преградил ей путь и ударом кулака в голову свалил ее на пол в обморочном состоянии.

— Барон и князь?! — вырвалось сердитым криком у Кузовкова, и, приказав чекисту охранять бородатого и женщину, он с Федором ринулся в погоню.

Во флигеле было всего три комнаты, и из последней, из окна и выскочили барон и князь. Выскочили в это окно и Федор с Кузовковым. Бежали в темноте, натыкаясь на деревья; наугад, на выстрелы, раздавшиеся в противоположных местах: в конце сада и около совхозского дома.

Где-то отчаянно, в смертельном вое, исходили две собаки.

В совхозском доме уже поднялась тревога: замелькали в окнах огоньки, слышались испуганные, взбудораженные голоса.

Наткнувшись на одно дерево плечом так, что свалился с ног, Кузовков поднялся и, потирая ушибленное место, остановил Федора:

— Федор, стоп! Бесполезно!

Подбежал Федор — возбужденный, горячий — в двух шагах от него жарко.

— Почему — стоп? Ловить надо.

— Бесполезно! Чую по всей обстановке, что птички упорхнули. Давай свисток своим к сбору.

Федор дал свисток.

Явился один чекист, затем другой, немного позже — двое остальных с разбитыми лбами.

— Что же вы, — ротозеи чортовы! — накинулся на них Кузовков: — четыре рыла стояли у такого флигелька и упустили двух молодцов прямо из-под носа.

— Да вдруг как-то они... не ждали мы... А тут темнота — мы дороги не знаем, на деревья налетаем — вон, как себе головы раскровянили, — а им тут каждая дорожка ведома! А потом эти проклятые собаки вцепились в нас так, что от них пришлось отстреливаться.

Кузовков вспомнил о своем ушибленном плече, которое сильно ныло, и смягчился.

— Ну, вот что. Ты, Федор, захвати четырех агентов и иди в дом. Арестуй попа без всяких допросов. Пусть допросят его на Лубянке. Перерой весь дом основательно в поисках улик. А я пойду во флигель.

Во флигеле Кузовков произвел самый тщательный обыск, но ничего не нашел. Бородатый, в луже собственной крови, умирал, но, умирая, с ненавистью хрипел:

— Ищите, ищите... много ли найдете...

Единственное, что попало Кузовкову в руки — это половинка почтового листка, которую бородатый в от-

сутствие Кузовкова хотел уничтожить, но чекист заметил и отнял листок:

В листке было написано карандашом:

„Привет вам, дорогие друзья. Крепитесь, держитесь и не унывайте... Организация в Б. идет успешно. Связь с Б. у нас самая надежная, и, когда у вас начнется дело, нужных людей мы из Б. будем доставлять вам дня в три. Передайте это п. М.“

Расшифровывать тайный смысл этих строчек Кузовков во флигеле не стал. Решился заняться этим потом. Ушибленное плечо припухло и так давало себя знать, что Кузовков распорядился, чтобы к саду подали машину.

Машину подали.

Бородатый и простреленный в живот чекист были уже в агонии, и брать их с собой не было никакого смысла. Кузовков отдал приказ; чекиста, когда умрет, доставить для похорон в компарт, бородатого — зарыть где-нибудь в совхозе, а женщину перетащить на машину.

Она все еще была в обмороке.

Когда ее чекисты поднимали с полу, Кузовков заметил, что она хорошо сложена и красива. В автомобиле он сел с ней рядом из соображения, что она еще не обыскана, что при ней, может быть, какие-нибудь документы: она может притвориться, что она еще в бессознательном состоянии, и незаметно эти документы выбросить.

Поэтому за ней надо последить.

Мягко шла машина по проселочной дороге, но изредка, на ухабах, сильно встряхивало, и Кузовкову приходилось поддерживать это обморочное тело женщины, льнущее к нему покорно, безвольно. Он чувствовал своим телом стройные, упругие формы этого тела, теплоту его, и ему, никогда еще в своей жизни не любившему, пришлось пережить мучительное чувство.

Женщина за несколько минут до приезда очнулась и сразу поняла, что с ней:

— Я арестована? — спросила она: — Куда меня везут?

— Да, вы арестованы, — холодно ответил Кузовков и отодвинулся от нее.

В уездном комитете партии было всего только две небольшие комнатки. В одной было очередное ночное дежурство двух членов компарта, в другой — помещался Кузовков. Он распорядился поместить ее в своей комнате, предварительно подвергнув арестованную обыску через жену сторожа.

При женщине ничего не нашлось, хотя, как уверяла жена сторожа, была ощупана каждая складка платья.

Диван в комнате дежурных был хорошим, но спал Кузовков плохо. Он думал разделаться с женщиной как можно скорее: отправить ее вместе с попом в Москву с донесением, что эта парочка из шайки начальника депо; что, может быть, еще из этой шайки изловит и пришлет кого-нибудь, а там — как хотят, так и поступают. Утром же Веру Васильевну допрашивал.

— Сударыня! — начал он холодно, прямо в упор смотря ей в лицо: — В ваших интересах, вы должны мне сказать, кто вы и какова была ваша роль в той белой организации, в которой участвовали. Я сегодня же отправлю вас в Москву на усмотрение высших властей, но, если вы мне чистосердечно покаетесь, это облегчит вам вашу участь.

Лицо Веры Васильевны было бледно, утомлено, помято, но и в таком виде было так прелестно и нежно, как лепестки роз, охваченные первыми осенними заморозками.

Она тоже смотрела прямо на Кузовкова, и ее глаза мелькали из-под пушистых, черных, стрельчатых ресниц, как кусочки голубого неба.

— Ах, боже мой! Чего вы от меня хотите? — воскликнула она с какой-то беспомощной, трогающей искренностью: — Ну, да я вам сейчас все расскажу. Мне 25 лет. Я дочь помещика одной из южных губерний. Нельзя сказать, что мы были богаты, но жили безбедно. А эта ваша ужасная революция сделала нас нищими. И, конечно, я ее ненавидела. Я не говорю, что вы неправы. Вероятно, вы более правы, чем мы, потому что вы умеете работать. Вы думаете про меня, что я что-то делала у белых. Может-быть, я и стала бы что-нибудь делать, если бы вы меня не арестовали. А пока делала вот что: я носила начальнику депо, для вида, конечно, молоко,

а на самом деле — какие-то пакетики, в которых я не знала, что находится, или что там написано. Я и от него получала иногда пакетики — и тоже не знала, что в них. Мне строго было запрещено доискиваться, что в этих пакетиках содержится. На меня смотрели, как на женщину, которая в этих вопросах не понимает и которой нельзя доверять никаких тайн, так как женщины, по мнению мужчин, слишком болтливы. От меня скрывали все. Вы вот слышали там, как убитый вами Владимир Николаевич называл: барон... князь... А я это впервые услыхала. Мне приказано было называть одного — Кока, другого — Мока и никогда не допытываться, кто такие эти люди, откуда, что делают.

— Как же вы соглашались брать такую роль? — покосился с усмешкой Кузовков.

— Вы мне не верите? Ну, посмотрите на меня! Какая я контр-революционерка? Я — молодая женщина, которая еще не жила и которой очень хочется жить.

— Если вы не виноваты, если ничего не знали, то зачем же вы хотели бежать вслед за князем и бароном?

— Какой вы смешной! Если вы будете за мной ухаживать, говорить комплименты, — я от вас не побегу; но если вы при мне будете стрелять, если я увижу человеческую кровь, я, конечно, побегу, потому что я не мужчина, а женщина, которой от таких вещей страшно.

Помолчала, взялась тонкими точеными руками за голову, на лице отразилась гримаса боли.

— Как же от вас не бежать? У меня до сих пор голова болит страшно. Ваш товарищ — такой грубый мужик: разве можно так бить женщину?

— Ну, а часто приезжали эти Кока и Мока? И кроме них еще — кто приезжал?

— Кока с Мокой всегда ездили вместе. Точно не помню, но были при мне в течение месяцев двух раза три. Приезжал еще раз какой-то господин — не более, как на час. Больше ничего не знаю.

— Может быть припомните?

— Припомнить? Может быть, припомню. Дайте мне немного отдохнуть. У меня так ужасно голова болит.

— Хорошо. Но припоминайте скорее. Я хотел вас отправить в Москву, сегодня вечером, но дам отсрочку: отправлю завтра вечером.

Голубые глаза расширились от страха, потемнели.

— Зачем в Москву? Там, говорят, такая страшная чека! Не надо в Москву. Клянусь вам именем отца и матери — я не виновата. Говорю же вам: я в политике ничего не понимаю и понимать не хочу. Это дело мужчин, а не женщин.

И смотрела умоляюще-вопросительно. Кузовков наклонил голову и, стараясь быть как можно холоднее и суше, бросил:

— В Москву вы будете завтра отправлены. Не забывайте о чистосердечном раскаянии — это вам не повредит.

ГЛАВА III

Вернулся Федор.

Горестно докладывал Кузовкову.

— Перерыли весь дом, все чердаки, подвалы, каждую щель вынюхали — и ничего. Чисто дело делают, сукины сыны!

— Ну, а попа привез?

— Привез.

— Как он?

— Делает вид, что бояться ему нечего, а видать — у самого поджилки трясутся.

— Завтра отправлю его в Москву. Пусть там посидит до тех пор, пока кто-нибудь из их братии не прибавится.

Но Федора поп уже не интересовал. Он махнул рукой и сознался:

— Поп — чорт с ним — это не зверь. Не видал я попов, что ли. А вот, то звери — барон с князем. Их изловить — это дело. Я теперь ни пить, ни есть не смогу, пока их не накрою. Давай мне бумажку такую, чтобы я от всех мог содействия требовать, троих людей порасторопнее и машину; уж все дорожки, все тропинки им пересеку. В лицо я их обоих заприметил. На своих на

двоих они за это время далеко не уйдут, а я сегодня же на машине все места обрыщу и следочки их понюхаю.

Кузовков отдал распоряжение исполнить все требования Федора и показал ему листок, отобранный от бородатого.

— Ну, а это как?

Федор прочитал и покрутил головой.

— Что же, раскусил, или нет?

— Думал, но еще не раскусил. Ясно, что под Б. подразумевается какой-то город или местечко. Но, где оно это Б.? Надо достать полный указатель всей России и посмотреть, что там стоит под буквой Б.

Федор засмеялся.

— Уж и указатель! А я, думаю, речь идет о матушке Белокаменной. По железке до наших мест можно как раз денька в три, действительно, докатить.

Кузовков даже подпрыгнул и обнял Федора.

— Ну, и рыжая голова у тебя. Изумительная голова! Это верно — речь идет о Москве. Но вот что, Федор... Всю эту записку путает одна буква. Вот фраза: „Передайте это п. М.“ Если бы это п. стояло с большой буквы, а не с маленькой, тогда все было бы понятно. Передайте, мол, это какому-нибудь Петру Михайловичу или какой-нибудь Полине Максимовне... А между тем, в этом маленьком „п“, может быть, вся соль, может быть, что-нибудь важное, заранее обусловленное. Несомненно, важное!

— Ну, пошла мудрить ученая голова! — отмахнулся Федор: — а я думаю просто: передайте, мол, это полковнику... полковнику... ну, например, Макееву.

Кузовков припомнил, что в этом уезде есть полковник Макеев, который командует военной частью, и остро уставился на Федора:

— Что ты этим хочешь сказать?

Федор хитро ухмыльнулся.

— Да ничего. Я только разглядывал маленькую букву. Этот полковник Макеев находится отсюда верстах в сорока — вот я о нем и вспомнил.

Кузовков подошел к телефону и вызвал председателя Компарта, а потом председателя Чека. Оба они дали

о полковнике отзыв, как о человеке, безусловно преданном советской власти.

— Видишь... — возобновил Кузовков разговор с Федором: — отзываются о нем, как о лице, которое неспособно участвовать в контр-революционном заговоре.

Федор опять хитро ухмыльнулся.

— Да я и не говорю, что он участвует. Может, он и не участвует, но посмотреть за ним все-таки не мешает. Если бы это был наш брат рабочий — за ним присматривать не надо. Рабочий может быть недоволен тем, другим, третьим, но в контр-революцию он не пойдет, потому что с помещиками, капиталистами и дворянами ему не по дороге. Ну, а полковник... Полковнику, я, Петруша, ни одному не буду верить. За каждым полковником, по-моему, надо присматривать, да присматривать.

Кузовков задумался и решил:

— Вот что, Федор, может быть, ты и прав. И побывай-ка ты у этого полковника денька на три. Я тебе такую бумажку дам, по которой никто не догадается, по какому ты делу туда прибыл.

Федор свистнул.

— Ну, нет, ни за что! А барон и князь? Упустить их? Назначай кого-нибудь другого. Этот полковник, может быть ни в чем не виноват, и я только время зря с ним потрачу. А за это время барон и князь — тю-тю-тю, — улетят.

— За барона и князя я возьмусь.

— Ты! А вдруг ты упустишь. У тебя, Петруша, такого нюха, как у меня, нет. Дудки! Не пойду на это.

И сколько Кузовков ни уговаривал Федора, даже приказывал, — Федор настоял на своем.

ГЛАВА IV

Никогда Кузовков не чувствовал себя так неуверенно, как перед разговором с Верой Васильевной.

Кузовков мучительно колебался пред странным раздвоением: отправить ли Веру Васильевну в Москву или

держать ее при себе до тех пор, пока выяснится, виновна она или нет.

И Вера Васильевна представлялась ему двояко: то так, как она нарисовала себя, попавшей в эту компанию в силу материальных условий, то такой опасной птицей, которую, если она поймана, надо держать крепко. У Кузовкова были на памяти случаи, когда женщины, арестованные за участие в работе белых, — менее сложные и менее красивые, чем эта Вера Васильевна, отправлялись им за каких-нибудь 50 — 60 верст — и по дороге убегали.

Оставить пока здесь?

Но перед этой женщиной он чувствовал какой-то первый волнующий трепет и боялся этого трепета.

Быть рабом чувства к женщине — допустимо ли это?

Недопустимо. Чтобы закабалить себя — надо ставить себе самые суровые испытания. И у него выростало желание поставить себе суровое испытание.

Нет, он не отправит этой женщины в Москву, дабы не думать, что он боится ее влияния.

Нет, он выждет, когда выяснится степень ее виновности, и, если она будет виновата, то его рука не дрогнет подписать ей самый суровый приговор.

С таким решением — твердый, сухой, холодный — вошел Кузовков к Вере Васильевне.

— Не припомните ли вы чего-нибудь к своим вчерашним показаниям? — отчеканил он медленно металлически.

— Я припоминала, но мне больше нечего сказать, потому что я сказала все.

— Не забывайте, что, если потом выяснится, что вы не так чисты, как себя выставляете, вы будете судимы строже.

На глазах женщины выступили слезы. И была она в это время трогательна и убедительна, как огорченный ребенок.

— Ах, боже мой, что вы от меня хотите! Я уже рассказала все, что я знала. Ну, держите меня, сколько вам будет угодно, проверяйте, расследуйте, а когда окажется, что никакой политикой я не интересовалась, —

дайте мне слово, что вы не выкинете меня прямо на улицу опять на положение загнанной собачонки, а дадите какую-нибудь работу, какое-нибудь дело. Когда я была в Петрограде, — я вращалась в среде чиновников, интеллигенции, бывших офицеров. Иногда слышала, как рассказывали про большевиков ужасные вещи. Иногда я верила, иногда нет, потому говорили все больше по наслышке, а иногда и прямо по злобе. А когда я услыхала несколько рассказов, как белые расправляются с красными, рассказы от людей, которые сами видели, а иные участвовали в этих расправах, — я сказала себе: никогда не верь тому, чего сама не видела. Я поняла, что, если красные жестоки, то и белые не лучше, что не мое дело судить, какая сторона права, какая нет. Я знала и знаю: я молода и хочу жить. Больше мне ничего не надо. А вы вот меня заперли, поставили часового со штыком у окна. Я, конечно, не сержусь на вас за это, потому что не вечно же вы меня будете так держать.

— Вы даже сегодня же освободитесь от этого часового, — заявил, чуть заметно улыбаясь, Кузовков. — Я вам сказал, что я отправлю вас в Москву.

И опять Кузовков встретил потемневшие, умоляющие глаза.

— Зачем вам нужно меня в Москву? Зачем вам нужно мучить людей? — говорю вам: держите меня здесь, проверяйте, расследуйте нас, я не боюсь, и думаю, что невинный у вас пострадать не может. А Москвы я боюсь, потому что не знаю, к кому я там попаду. Вас я вот, например, не побоюсь спросить: ну да, я — так называемая контр-белогвардейка, так как я дочь помещика, но неужели мне надо верить, как верят многие из нас, что коммунисты задались целью уничтожить с лица земли не только тех из нас, которые борются против коммунистов, но и таких, как я, и мне подобных, только за то, что мы имели несчастье родиться в помещичьих семьях?

Кузовков взглянул — увидел словно выточенное из розового мрамора тонкое, с правильными линиями, лицо, смутился и пробормотал:

— Хорошо... подумаю... — и вышел. Сидел в комнате, рядом с комнатой Веры Васильевны, за столом, разбирал телеграммы на свое имя из Губисполкома, набрасывал ответы и распоряжения и видел... синие, как небо, глаза и словно точеное из розового мрамора лицо.

В глубине души встал ехидный вопрос: „товарищ Кузовков, почему так много внимания и раздумья над женщиной. Уж не любите ли вы?

„Ерунда! Вздор. Не такое сейчас время, чтобы предаваться любовным бредням", — отвечал себе Кузовков, а в глубине души опять вопросы: „Ну, а если люблю? Разве не имею на это права? Разве не знаю некоторых честных коммунистов, которые горят в огне революции и, вместе с тем, любят? Любят, а когда долг революции зовет их — оставляют свою любовь и идут на битву. Разве преступление, если окажется, что эта женщина не была и не будет опасной для революции, любить ее, втянуть в свою работу, сделать, может быть, ее из белой — красной?"

За такими тайными мыслями застал Кузовкова Федор. Он вошел шумный, живой, потирающий от удовольствия руки.

— А у меня, Петруша, дело как-будто на-мази. Как-будто я попал на следок барона с князем.

— Ну, говори! — рассеянно бросил Кузовков.

— Говорить? Нет, рано. Я не люблю, когда разболтаешь, а потом вдруг не выйдет, сорвется почему-либо. Пока говорю одно: как-будто на-мази. А что дальше — понюхаем!

— Как хочешь. Дело твое, — вяло отозвался Кузовков и как-будто углубился в телеграммы.

Федор посмотрел, повел носом, — как-будто собака нюхает, — и нахмурился.

— Ты что это какой?

— То-есть как какой?

— Да так... немазанный.

— Ерунду несешь. Такой — как всегда. Правда — есть одно сложное положение с женщиной...

— Это с той, которую в совхозе зацепили?

— Да. Думал — нето отправить ее вместе с попом в Москву, нето оставить пока до выяснения ее виновности при себе.

— Так... — и Федор свистнул. — Конечно, это дело твое. Ты большая шишка — председатель губисполкома — и не мне тебя учить. Но я думал бы все-таки вот так: в Москву бы ее, на Лубянку, а там, как хотят, так с ней и делают. Так — спокойнее, возни меньше.

— Ты рассуждаешь очень просто и удобно. Но у этого вопроса есть и другая сторона. Здесь мы поскорее расследуем ее дело, а на Лубянке — много там и без нее всяких дел. Когда до разбора ее дела дойдет — воды много утечет.

Федор хитро ухмыльнулся.

Смотри, если бы какая-нибудь другая — еще туда-сюда. А эта... опасная.

— Чем опасная? — вспыхнул Кузовков, чувствуя, как все его лицо заливает краска.

— Да тем — уж очень красива, — свирепо бросил Федор. — Такая — хоть ты и сам этого не хочешь, а она все-таки размагнитит. Это уж, как пить дать.

Кузовков взглянул на Федора, и ему показалось, что эта длинная, рыжая орясина великолепно понимает все его тайные, душевные движения — взглянул и тряхнул головой:

— Верно, Федор, такая размагнитит. И ну ее, к чорту: поступлю по твоему совету — отправим ее на Лубянку.

Подумал немного — захотелось кипучей, сильной, опасной деятельности.

— Вот что, Федор: налаживай-ка ты поскорее дельце, на котором можно было бы хорошенько поразмяться.

И Федор опять стал живой, шумный, потирающий от удовольствия руки. Он засуетился, заторопился: — „Да я что, я-то постараюсь, я-то уж не выдам" — и исчез.

ГЛАВА V

Отправкой Веры Васильевны и попа в Москву руководил сам Кузовков, тщательно вникая в каждую мелочь. Четверых конвойных и двух чекистов, назна-

ченных сопровождать арестованных, Кузовков проверил и отзывами от организаций и своим личным осмотром.

Казалось, что все люди надежные.

Перед самым отходом поезда Кузовков зашел в вагон. Поп сидел, низко понурившись, как-будто не видел Кузовкова. Вера Васильевна встретила Кузовкова взглядом, который сразу наполнился глубокой укоризной и слезами.

— И... все-таки отправляете? — тихо вымолвила она. — Зачем это вам нужно? Смотрите — в чем я? В одном платье. У меня нет даже подушки, чтобы прилечь в пути.

Кузовков жестко сказал конвою:

— Требую неослабного надзора. Помните, если вы не доставите этих двух лиц в Москву, вы мне ответите своей головой.

Поезд тронулся. Кузовков пошел к выходу из вагона и слышал, как за ним тянется раздавленный, беспомощный плач женщины.

Прошел день, другой, третий.

Все эти дни Кузовков провел в большой работе: произвел строгую ревизию всех уездных организаций и учреждений. Он работал по восемнадцати часов в сутки и... все-таки вспоминал синие глаза, точеное лицо, и думал: „Я поступил нехорошо: как Пилат, умывши руки“.

На пятый день, когда Кузовков решил было уже уехать в губернию, он получил извещение.

Суть этого извещения была такова:

„В двухстах верстах от места отправления, всего только на вторые сутки своего пути, арестованные бежали из вагона ночью при помощи старшего конвоира, который остальную команду опоил каким-то снотворным средством. А через сутки этот конвоир найден был отравленным в пятнадцати верстах от места побега“.

Старший конвоир — молодой, красивый парень, который был рекомендован Кузовкову, как наиболее надежный, испытанный, да и Кузовкову таким показался.

Кузовков был вне себя от бешенства. Он приказал подать ему паровоз с одним вагоном и помчался к месту побега. Два дня он провел в тщательных поисках, но следов попа и Веры Васильевны не обнаружил никаких.

Они как в воду канули.

Вернулся Кузовков разбитый, с чувством, что он никогда не простит себе этой ошибки.

Его ждал Федор.

Но, прежде чем говорить с Федором, ему пришлось пережить нечто еще более неприятное. Ему подали письмо.

Кузовков распечатал. Тонкий, красивый, бисерный почерк.

„Товарищ Кузовков, пишу вам эти строки, когда уже нахожусь на свободе.

Я боялась не Москвы, а как раз обратного: того, что вы оставите меня при себе и поскорее, чем Лубянка, найдете нити нашей работы.

Я хорошо знаю, что вы спихнули меня потому, что вы боялись меня, как женщину. Приветствую свою красоту и надеюсь, что она принесет еще немало пользы в борьбе нашего лагеря с вашим.

Может быть, судьба еще раз столкнет нас с вами. Я этого не боюсь. А может случиться, что даже наши роли переменятся.

Вера Васильевна“.

— Федор... — бешено заговорил Кузовков, пряча письмо в карман. Сегодня я получил такой урок, какого никогда не забуду. Правда, этого урока могло бы и не быть, если бы не ты... Тебя послушал, как честного пролетария, а вышла большая ошибка.

— В чем я виноват? — удивленно раскрыл рот Федор. — У меня эта баба не сбежала бы. В два счета к стенке — и кончен разговор.

— Ну, ладно. Не будем разбираться. Я, конечно, больше виноват. Приступим к делу. Как у тебя?

— У меня? У меня, кажется, на-мази. За этим тебя, Петруша, и ждал. Садимся на машину и едем. Правда,

человечка три надо еще прихватить. Не знаешь — на кого и на скольких там налетишь.

Кузовков тряхнул головой.

— Не надо никаких человечков, едем вдвоем.

Тряхнул и Федор.

— Не думай, что боюсь. Я тоже риск люблю. Вдвоем, так вдвоем.

Проехали верст семь, оставили автомобиль и с версту шли пешком. Поравнялись с большим женским монастырем. Окруженным высокими каменными стенами и вековыми соснами и дубами.

„Земледельческой коммуной называется. Говорят — монахини „Интернационал“ поют, — пояснял Федор, огляделся зорко по сторонам, подвел Кузовкова вплотную к стене и указал: — Видишь?

— Ничего не вижу.

— Да вот, следы на стене.

Кузовков вгляделся. Верно, есть какие-то пятна, царапины идущие снизу вверх.

Отвел Федор Кузовкова подальше.

— Понимаешь, что-то меня тянуло к этому монастырю. Как еду, или иду мимо, так и думаю: тут неладно: „Интернационалом меня не обманешь. Ну, а как решил обойти его кругом — так сразу эти следы и вынюхал. Лестницу веревочную, мол, оттуда сверху, наверное спускают. И давай дежурить. Три дня и три ночи дежурил и дождался-таки — явился какой-то гусь — ночью, конечно, — постучал три раза в стену — и верно: спускается лестница. Хотел я этого голубчика сцапать, да раздумал: словишь, мол, одного, а пятерых, может, упустишь. Теперь Петруша, будем ждать, а часиков в двенадцать постучим — авось и нам лестница спустится.

Еще только вечерело и ждать приходилось долго.

Они спрятались за могучие, развесистые дубы. Монастырь погрузился в ночную тьму и тишину. Слышен каждый лесной звук, шорох. Можно бы думать, что нет тут никакого монастыря, если б не звуки отбиваемых часов, медленно, протяжно уплывающие далеко, далеко в лес.

Наконец, двенадцать.

Обождали еще немного и приблизились к стене.

Федор особо — с интервалами — стукнул три раза. За стеной послышался шорох, осторожный шопот и легкая возня. Минуты через две-три по стене что-то зашуршало: лестница. Кузовков коснулся ее первый и хотел лезть первым, но Федор опередил. Длинный неуклюжий, с нескладным тяжелым телом, а по лестнице взбирался мягкими, гибкими, кошачьими движениями. Федор на стене. Полез Кузовков. И когда был наверху стены — Федор уже был внизу.

— Пароль... — послышался сладкий, медоточивый женский шепоток.

— Пароль... — уже тихий голос Федора с свирепыми нотками, а вслед за этим — какие-то хрипы, словно кого давят.

Кузовков поспешил соскользнуть за монастырскую стену и наткнулся: крепкими, как клещи, руками Федор держал одной рукой за горло монахиню, другой за горло старика — монастырского сторожа.

ГЛАВА VI

Хорошо было за монастырской стеной.

Цвели липы, густо пахло столетней сосной, розами, табаком, резедой и еще какими-то цветами — такой сладкий дурман, от которого даже у могучего Федора закружилась голова.

— Ух, чорт... — размягченно пробормотал он. — В голову так шибает, точно на-тощак полбутылки водки сразу хватил.

А в его руках беспомощно, как рыбы, выброшенные на песок, бились монахиня и старик.

— Отпусти. Вот чудак — так ведь и задушить можно! — сказал ему Кузовков.

— А кому от этого вред будет? — свирепо отозвался Федор — ты только посмотри: кругом — рай, прямой рай. Сволочи!

Ты видал когда-нибудь поближе — канаву в депо? Грязи там на стенах от нефти, да от вонючего собачьего и кошачьего сала вершка на три. Поработай-ка вот в этой канаве денек: пойдешь домой — на ногах шатает. Вот каков тамароматец-то! А иногда в этой канаве не день работаешь, — а неделю зарядишь. А у них что? Устроили себе уголки, в которых умирать не нужно, а нам в голову вдалбливали надеяться на рай небесный. Всю эту сволочь я в этих канавах утопил бы с удовольствием!

И по тому, как в руках Федора судорожно дрогнули монахиня и старик, Кузовков понял, что Федор не „отпустил“, а нажал покрепче.

И сказал уже строго:

— Брось, говорю.

— Да уж бросаю, — недовольно согласился Федор. — Не беспокойся: не издохнут. Подержи-ка вот старика, пока, я с этой святой душой разделаюсь!

— Что ты с ней хочешь делать?

— А ничего. Рот ей надо заклепать!..

Федор отволок монахиню шагов за пять к стволу дерева и там в полной темноте, куда ни единый луч не падал, принялся над монахиней возиться. Что-то там трещало — похоже, разрывали материю, — что-то грузно ворочалось, а Федор приговаривал:

— Ну, и квашня!.. Ну, и жир!

Ничего не понимавший и не видевший Кузовков тревожно спрашивал:

— Чего ты там над ней выкидываешь?

Федор не отвечал, а продолжал приговаривать:

— Ну, и телеса наела! Не может быть, чтобы с постной пищи так развезло. Нечего сказать — хороши святые люди.

Наконец, раздался все еще полузадушенный, хриплый, умоляющий голос монахини:

— Господи Иисусе! Братец... Пожалей... За что ты так...

Кузовков не выдержал и, не выпуская старика, двинулся к Федору. Но Федор уже сделал свое дело: на

земле лежала, связанная по рукам и ногам собственной же одеждой, с заткнутым ртом, монахиня.

— Зря! — сказал Кузовков, — надо бы ее допросить. Может быть, она что-нибудь важное сказала бы.

— Ничего! Пусть полежит ночку! Знаем это бабье отродье, ты от нее станешь добиваться толку, а она вдруг так завизжит — за версту будет слышно. Поговорим лучше вот с этим...

Федор перенял от Кузовкова старика.

— Ну, ты, старая репа! Говори мне всю сущую правду, если хочешь быть живым.

Старик покорно зашамкал беззубым ртом:

— Я что-ж... Я все скажу, что знаю. Умирать никому не охота.

— Сколько лет?

— Под 70.

— Давно в монастыре?

— Да уж лет сорок.

Федор едко усмехнулся.

— Дармоед! Знал куда устроиться; к монахиням под бок. То-то тебе и умирать не хочется. Побыл бы ты в деповской канаве, тогда бы иначе говорил. Ну, вали мне на чистоту: что сейчас в монастыре делается? Свои ли только люди находятся, или чужие есть? А если чужие, то кто такие и зачем сюда наведываются?

— Наше дело, товарищ, маленькое! Что делают — нас не спрашивают.

— Значит, выходит, что ничего не знаешь? Смотри, старый костыль, со мной шутки плохи.

— Как не знаю? Знаю. Пойдем-ка, вот лучше к игуменье, — там вот и увидишь, что у нас делается. Срам один!

— А кто игуменья?

— Игуменья? Высокого званья — княжеского рода.

— Веди! Только смотри, старая репа, ежели вздумаешь нас обмануть, тут тебе вмиг и капут будет.

— Зачем обманывать? Своя жизнь дороже.

Старик повел. Вошли в низкий, узкий корридор монастырских келий и шли долго, сворачивая, то вправо, то влево.

— Раньше свет горел, а теперь обеднели и в темноте живем, — словно извиняясь, шопотком, робко шамкал старик.

Наконец, старик остановился:

— Здесь.

— Как думаешь действовать? — грозно прошептал Федор.

— Свое дело сделаю, а там как хотите! Говорю — своя жизнь дороже.

Старик легко постучал два раза в дверь кельи.

Послышались мягкие, упругие шаги, и нежный, певучий женский голос тихо, недовольно из-за двери спросил:

— Что надо? И кто стучит?

— Я — Силантий. Дело, матушка игуменья, до тебя большое имею. Беда стряслась...

— Какая беда? Нельзя ли отложить разговор до завтра?

— Нельзя, матушка игуменья.

— Фу-ты... К себе я, Силантий, тебя не впущу. Говори оттуда — да короче.

— Боюсь, матушка игуменья, отсюда говорить. Дело такое — как бы стены не подслушали.

— Вот, грех-то — а главное, не во-время. Ну, сейчас выйду, Силантий.

Щелкнул ключ, и дверь кельи тихо приоткрылась. Свет из кельи яркой полосой остановился в темном коридоре. Высунулась осторожно голова игуменьи, — готовая при малейшем подозрении скрыться обратно.

— Говори, Силантий, но повторяю — короче.

Но Силантию не пришлось говорить.

Длинная могучая рука Федора страшно, и точно рычаг машины, захватила шею игуменьи и выволокла игуменью в коридор.

Все остальное для Федора и Кузовкова было делом минуты. Федор придавил уста игуменьи своей широкой рабочей дланью и змеящимся шопотом командовал:

— Петрушка, на матушке я ощупал поясок, — снимай его и вяжи им ей руки.

Кузовков исполнил, удивляясь, когда Федор успел ощупать поясок.

А Федор затыкал своим носовым платком рот игуменьи и сердился:

— Не кочевряжься, мать. Грязноват, правда, платочек-то, но ведь у нас послушниц нет: стирать часто некому.

Тронулись в келью: Кузовков вперед, за ним игуменья, старик, позади ничего не упускающий из вида, Федор: дверь в келью на ключ запер, в карман положил и ухмыльнулся:

— Стрекатать-то некуда будет.

Келья имела в несколько шагов маленькую переднюю.

Кузовков остановился перед второй дверью в келью и прислушался: там о чем-то с таким веселым спокойным смехом говорили — ясно было, что ничего не подозревали.

Кузовков мягко открыл дверь, переступил порог и, слегка поводя опущенным вниз браунингом, с одного взгляда понял, что никакой жаркой и опасной схватки тут быть не может.

И стоял с брезгливой, презрительной улыбкой.

Но не так отнесся Федор. От того, что он увидел в келье, он задрожал, лицо налилось краской, как огнем, а в глазах вспыхнуло такое бешенство, что Кузовков поспешил его успокоить.

— Федя, не волнуйся! Мы накрыли жалких, трусливых воробьев, а по воробьям, как говорят, из пушек не стреляют.

Перед ним развернулась такая картина.

Довольно большая келья, затянутая по стенам розовыми и красными коврами, но тесная от мягких, широких, турецких диванов, пуфов и удобных качалок-кресел.

Среди кельи большой стол, весь уставленный винами, сластями, фруктами и цветами. Над столом — большой розовый фонарь. За столом — два еще не старых, но сильно поношенных „джентльмена“ в лаковых ботинках, белых жилетах и прекрасных визитках, с белыми розами в петлицах.

А в углу кельи, на жестком круглом табурете, украшенном свисающими до полу золотыми кистями, стояла, с цветочным венком на голове, танцовщица, вся одежда

которой состояла из легкой, прозрачной, зеленой греческой туники.

При появлении нежданно, негаданно гостей, два джентльмена за столом встали: один сразу позеленевший от бледности, как после тяжелой болезни, с жуткой гримасой смертельного испуга, похожего одновременно на улыбку сумасшедшего, другой — изящным быстро-привычным движением кинул монокль в глаз и, стараясь беззаботно, весело улыбаться, заговорил:

— Я, конечно, не доверяю своим глазам: это галюцинация! Вероятно, я слишком много перепил... Помните, князь, то дело?.. Так вот, с тех пор, я часто вижу страшную рыжую морду. Вы смеетесь, князь? Я тоже смеюсь, так как ни на одну минуту не допускаю, чтобы в таком надежном месте нас могли открыть. Но нервы, нервы. Видите, Лилет, как трудна наша борьба с этими проклятыми красными. Я, барон Будберг, сумею в решительный момент с честью умереть за наш обожаемый императорский престол и за единую неделимую Россию, а пока — к чорту призраки! Танцуйте, Лилет... ну да, что вы так хорошо танцовали? Да, да... эту тарантеллу!

Танцовщица на своем табурете замерла, как статуя.

Федор подошел к барону чуть не вплотную и так бешено рявкнул, что воздух в келье содрогнулся:

— Стеклышко, сволочь, долой!

Барон чуть подал голову назад, не снимая монокля, оглядел всех: танцовщицу и игуменью, лицо которой, от забитого ей в рот грязного платка Федора, было залито слезами и отвращением, и Кузовкова, готового уже весело смеяться над тем, что происходит, и князя, стоявшего с низко понуренной головой, так беспомощно и покорно, точно над ним уже совершается неотвратимый смертный приговор, и старика, который посматривал то на игуменью, то на танцовщицу, качал седой головой и говорил: „Это в монастыре — срам-то какой! — оглядел всех барон и забормотал:

— Ничего не понимаю... Хоть повесьте меня, но ничего не понимаю!

И опять Федор рявкнул:

— Стеклышко, сволочь, долой!

У барона выпучились выпуклые бараньи глаза так, точно сейчас выскочат из орбит.

Но выражение этих глаз было такое тупое, недоумевающее и растерянное, словно он все еще сомневался: призраки ли перед ним или живые, страшные для него люди?

По длинной фигуре Федора пробежало какое-то многозначительное, грозное, жуткое движение. Кузовкову показалось, что сейчас Федор сорвется окончательно и пойдет крушить все, как слепая взбешенная сила, и он попытался предотвратить это, сказав со смехом:

— Чего ты, Федя, волнуешься? Вот чудак! Разве забыл, что надо делать! А именем его величества Пролетариата...

Но Федор, как будто, и не слышал.

Его тяжелый, громадный кулак быстро мелькнул в воздухе и обрушился на голову барона. Барон выронил только один легкий звук — словно икнул, и повалился навзничь.

— Федор, не дури! — сердито вырвалось у Кузовкова. Вот чорт, — ведь так и убить можно. А он нам еще при дознании пригодится.

— Пригодился бы он или нет — этого я не знаю. А то, что положил этого глупого барона одним ударом на месте — это я знаю. Знал, куда бил: в темя! Говорил ему: стеклышко долой. А он что? — тоже сердито ответил Федор и опустился на диван с таким вздохом, точно после очень тяжелой работы. — Ух!

Помолчал, осмотрел стол, поморщился, встал, подошел к игуменье, вынул платок из ее рта и угрюмо спросил:

— А нет ли у вас водки, мать святая?

С трудом скрывая ненависть и отвращение, игуменья покорно ответила:

— Сам, братец, видишь — и мы грешные люди, грешные... Греха не таим! И рада бы, братец, услужить, но грубых напитков не имеем.

— Так грубых, значит, не имеете... Все барское? — еще угрюмее бросил Федор и вернулся к дивану.

Он взял со стола одну бутылку, другую, посмотрел на ярлыки и покрутил сокрушенно головой:

— Ни бельмеса не смыслю, Петруша! Не для нас, значит, написано. Ну, ладно, ежели читать по-собачьи не выучены, — выпить, надо полагать, сумеем не хуже князя и барона.

Он взял первую попавшуюся полную бутылку и вытянул ее из горлышка в один прием до дна.

Посмаковал раздумчиво, — видно, вино понравилось, и потянулся за другой бутылкой.

Кузовков нахмурился.

— Федор, я вообще против пьянства, а при исполнении служебных обязанностей — в особенности. Приказываю тебе вина больше не брать!

— Не возьму, не возьму! — с улыбкой согласился Федор и немедленно взял вторую бутылку, опорожнил ее так же, как первую, и сурово добавил: — Посади меня, Петруша, под арест на неделю, на две, на сколько хочешь — отсижу. Спорить не буду и сердиться тоже. Чего сердиться? Отец мой от хорошей жизни шибко запивал. Рос я, смотрел на него и осуждал: никогда, мол, пить не буду. А как подрос, да раскусил, какова наша жизнь пролетария, — так и самого к баночке потянуло. И теперь я тоже — стравленный человек.

Хотел что-то сказать Кузовков, но промолчал. Только еще больше нахмурился.

Федор заметил эту хмурость, но как будто не обратил на нее внимания. На его лицо наплыла несходящая, ухмыляющаяся, довольная улыбка. Он подошел к игуменье, развязал ей руки и сказал тоном вдруг очень подобревшего человека:

— Теперь и ваши ручки можно освободить. Прошу, мать святая, садиться.

Подошел к князю, обыскал его — нет ли оружия: оружия не оказалось, — и тем же тоном:

— А вы, князь, что столбом стоите? Пожалуйста, не стесняйтесь. Вы нашему брату-холопу при себе сидеть не позволяли, а мы — вас, может быть, к стенке поставить надо, — и поставим, ежели заслужили, но сидеть при нас — сделайте одолжение! Потому что мы, князь, деповские канавники, получше вас, и на такие мелочи — ноль внимания! А когда, вы, князья, будете с нами бок-о-бок в деповских канавах работать, тогда мы вас даже товарищами назовем. Честное слово, князь!

Посмотрел выжидательно на игуменью и на князя.

Те стояли, но под взглядом Федора церемонно присели.

Кузовков подошел к барону.

Лицо хмельное и такое спокойное, как будто спит.

Монокль сполз к носу и поблескивал странно и глупо.

Пощупал пульс: пульса не было.

— Да, уж будь, Петруша, покоен: не воскреснет! — весело засмеялся Федор. — Говорю тебе: я знал, куда бил. А все это проклятое стеклышко. Сними он его, я этого барона не тронул бы. Я тебе вот про эти стеклышки расскажу. Было мне лет девятнадцать — попал я в Питер. Хожу, работы ищу и не подыхаю с голоду только потому, что своя рабочая братия кормит. Сижу раз я, часиков в 12, на Васильевском острове в одном парке. Народу в парке — никого, на душе у меня кошки скребут: нет работы и когда будет — чорт ее знает. Даже думаю: надо, мол, пешим хождением по шпалам куда-нибудь из Питера удирать. Идет мимо господин. Одет прямо картинка! Под мышкой у него портфель. Прошел мимо меня шагов пять, полез за платком в карман, а портфель-то в это время у него потихоньку и выпал. Поднял я этот портфель: тугой, пузатый, как беременная баба. Заглянул в него — и испугался: деньжищ в нем, пачками новенькими, пятисотрублевками — уйма. А кроме денег — пропасть всяких там акций, облигаций, процентных бумаг. Как я был честен тогда, Петруша! Рос с самого рождения не сладко, вырос — ищу куска хлеба за свой труд и не нахожу, ночую на баржах на Обводном канале, а попалось мне такое богатство — я даже не подумал, что тут можно поживиться, хотя бы немного. Вскочил я — и за этим господином: милостивый государь, мол, остановитесь. Нет, здорово о чем-то задумался — не слышит. Я его все догоняю и окликаю. Наконец, услышал. Обернулся. И как увидел портфель у меня — побледнел, как покойник. Подскочил ко мне, схватил портфель, взглянул раз на меня, вот через такое стеклышко, круто повернулся и пошел. Вот тут-то я и

Государственная БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. Ленина

задумался. Скажи он мне хоть одно слово: спасибо, мол, парень, — и я был бы доволен, что на чужое, мол, не соблазнился. Но он не сказал. Смотрю — в парке никого. Свободно я мог с этим портфелем скрыться. Мог-бы даже не скрываться: оттащил в участок — пожалуйте, мол, как полагается по закону, — третью долю. На мой век и этой третьей доли вполне бы хватило. Запомнил я с тех пор эти стеклышки. И чем больше на них смотрел,—тем больше меня разбирало: подойти, да так хватить по нему, чтобы оно через глаз в мозги пролетело. Ты сознаешь, что ты человек, что ты весь век свой хочешь прожить честно — только трудом рук своих, а идет какая-нибудь свиная морда, которую сразу видишь, что это захребетник, и так на тебя через эти стеклышки смотрит, точно ты такая мразь, которой на улице-то нельзя показаться. Эх, да что, Петруша, говорить... Противно.

Федор плюнул и потянулся к бутылке. Налил в большой хрустальный бокал, попробовал, покрутил одобрительно головой и посмотрел вино на свет:

— Ну и вино, — как кровь! Не работали, а ухитрялись такое винцо вдоволь пить. А мы работали, но чтобы хоть сивуху вдоволь пили—этого сказать нельзя. И нас же пьяницами считали. Поработали бы в деповских канавах, сволочи! Под тобой грязь, по бокам грязь, сверху на тебя из паровоза горячая вода падает, пар бьет. Одежа на тебе от сала и от нефти такая — противно прикоснуться. Только, бывало отрады, только тогда и на душе полегчает, когда выпьешь.

Кузовков молчал, слушал, будто, не видя, что Федор пьет. Он чувствовал, что неспособен сердиться на Федора.

Федор допил и третью бутылку. И после третьей, ласково-извиняющимся тоном, заявил:

— Баста, Петруша! Больше не буду. Займемся делом!

Подошел к игуменье.

— Сколько, мать святая, лет?

— Сорок, братец.

Умеренно полная, с нежным, почти девическим цветом лица, игуменья была еще хороша собой.

Рассматривал ее Федор с добродушным простовато-удивленным видом:

— Н-да, мать святая, житьишко у вас, надо полагать, было не плохое. Наша баба в сорок лет — какая уж от нужды и забот баба: смотреть на нее не хочется. А вы— ягодка!

Вновь посмотрел ня игуменью, потом на князя — и вдруг.

— Родственники?

Взглянула на Федора и игуменья — перед ней уж был не добродушный, простоватый детина, а что-то грозное, как закон карающий — и, поколебавшись, игуменья тихо вымолвила:

— Да, брат мой.

— То-то! Я вижу.

Подошел к танцовщице. Она уже давно потихоньку перебралась с табурета в уголок дивана и сидела, обхватив колени руками, небольшим сжавшимся комочком.

Ткнул ее Федор пальцем в обнаженное плечо.

— Не стыдно оголяться-то? Кто такая? Откуда?

Прозвучал испуганный, тоненький, как писк мышиный, голосок:

— П... По... Послушница.

— Врешь! Знаю я послушниц. Тоже птицы: каждый год из монастырского колодца до десятка младенцев вылавливают. А оголяться так — до этого послушницы едва ли доехали. Была ты, по-моему, в таких местах, где перед такими баранами, как барон, тру-ля-ля напевала и ножки вскидывала. А когда революция пришла, — куда ж тебе деться, как не сюда спрятаться. Так говорю?

Танцовщица промолчала.

— Ну, ничего... Вы у меня с матерью-игуменьей немного в деповской канаве потанцуете.

Кузовков громко рассмеялся.

— Что, Петруша, смеешься? Правильно говорю. Ты уж эту мою просьбу уважь. А сейчас не пора ли нам в путь-дорогу? К утру я сюда вернусь. Захвачу с десяток людей и все это святое место вверх тормашками поставлю.

Кузовков согласился.

— Ну, вы! — обратился Федор к игуменье, князю и танцовщице: — „единая неделимая“, становитесь-ка в затылок. Гуляйте-ка с нами туда, где вам давно следует быть.

Князь и игуменья встали. Но танцовщица не трогалась.

— А ты чего, ворона мокрая, не трогаешься!

— Разрешите мне одеться? — прозвучало робко, умоляюще.

— Вот чего захотела! — и Федор свистнул. — Нет, голубушка, в чем есть, в том с нами и пойдешь.

Кузовков опять рассмеялся, но сделал танцовщице жест, чтобы она оделась. Федор сокрушенно вздохнул.

— Зря, Петруша! Пусть бы ее деповские рабочие посмотрели. А я бы им сказал: — вашим бабам скоро ходить будет не в чем, а эта курочка вот в каком оперении щеголяет.

Вышли из кельи. Федор запер келью. Тронулись в коридор — впереди сторож, за ним Кузовков, освещающий темный коридор электрическим фонарем, за Кузовковым князь, игуменья, танцовщица, а позади Федор, предупреждающий веселым шопотом:

— Ну, вы спасители обожаемого престола... Прошу итти в ногу, в затылок, а чуть кто в сторону, хоть на один шаг — тому сейчас же свинцовый подарок.

Вышли за ворота монастыря.

Федор отдал старику короткий, но внушительный, приказ:

— Часика через три я вернусь. Если узнаю, что ты хоть единым словом проболтался, я тебя, старая репа, на этих воротах повешу.

ГЛАВА VII

На другой день Федор потребовал от Кузовкова больших полномочий. Говорил хмуро-сосредоточенно:

— Я так думаю, Петруша.. Барон подох, князь, в придачу с игуменьей, в наших руках, монастырь я вверх дном поставил, а ниточки, которая бы вела

к клубочку, пока не обнаружено. Приходится ждать, пока обнаружится. Только ждать — нельзя: скучно, с тоски помрешь. Надо хоть как-нибудь действовать. Непорядков, разгильдяйства кругом — дальше ехать некуда. Дай мне такую власть, чтобы я здесь всех, хотя бы шишек больших, но ежели они того заслуживают, мог бы в бараний рог крутить. Я тут до всех сукиных сынов, да дураков меднолобых так доберусь, — запищат они у меня. Одним словом, нужно, чтобы все в уезде знали, что диктатором тут я — Федор Быльников.

Кузовков и без этого требования уже решил, что, когда уедет в губернию, то самым надежным человеком, которому надо будет дать над уездом всю полноту власти, должен быть, конечно, Федор. Но сделал вид, что удивился.

— А не много ли, Федор, захотел?

— Прошу только то, что надо. Отвечаю перед тобой во-всю, ежели в чем провинюсь, — ставь Быльникова к стенке без всяких разговоров.

— Так... ну, чем бы ты, например, в первую голову занялся.

— Паровозами. Вон их какое кладбище стоит. Потом с продотрядчиками расправлюсь. Я им покажу, как пьянствовать, да в галифе, да в таких сапожках — шик, блеск — щеголять. У меня будут в лаптях ходить, но чтобы у бабы, которая голодным детишкам мешок сухарей несет, — пусть-ка мародеры при мне попробуют отнять такой мешок. Я всех, кто не понимает, научу, как надо революцию понимать; а кто не захочет понимать, пусть не жалуется тогда, я его придавлю так, что он у меня комариком запоет.

Кузовков ответом Федора был удовлетворен.

Ибо, когда он производил ревизию, то вывел заключение, что за ремонт паровозов и за искоренение безобразий у продотрядников нужно взяться в первую голову.

— Хорошо, Федор. Ставлю тебя здесь самым большим комиссаром! Сегодня же ты получишь над уездом самые полные полномочия.

— Добре! — пробурчал Федор, забрал шапку и ушел в депо.

Кузовкову хотелось проверить, как Федор будет комиссарить, и ради того он остался в уезде еще на некоторое время. Федор принялся работать так, точно в уезде не один Федор Быльников, а несколько.

Он и в административных учреждениях, и в продовольственных. Он мчится по линии наводить порядок, а с линии свертывает в деревни улаживать с мужиками земельные недоразумения.

Он бывает на ночных заседаниях в парткоме, а из парткома прямо идет в депо и работает, не гнушаясь никакой черной работой.

К нему не боятся итти с жалобами самые маленькие, робкие люди, и при виде его начинают трепетать крупные персоны.

Уезд заволновался, зашептался, стал подтягиваться, ибо Федор умел нащупывать такие уголки, где много накопилось сору и где Федора менее всего ожидали.

Никто не знал, где найти Федора, но зато он хорошо знал, где ему следует быть.

Чумазый, — и помыться-то ему некогда, — в засаленном рабочем костюме, он вставал над уездом для всех, кто имел основание его бояться, как черная гроза, и к Кузовкову потянулись, было, жалобы на то, что Федор дезорганизует работу.

Кузовков положил на несколько жалоб одну и ту же резолюцию: „Прекрасный организатор! Работник, каких нам не хватает“.

И жалобы прекратились.

Федор в работе не знал ни дня, ни ночи.

Ворвался раз к Кузовкову в три часа ночи и поднял с постели.

— Петруша, едем в монастырь!

— Но почему именно теперь? Нельзя ли другое время выбрать? — возражал, немного недовольный, Кузовков.

— Другое? Другого не выберешь. Они у меня теперь ранёнько начинают работать. Я теперь там настоящую коммуну слаживаю!

И „Интернационал“ они у меня скоро по-настоящему запоют!

Кузовков поехал и убедился, что коммуна слаживается, действительно, настоящая.

От тех порядков, какие были при игуменье, нет и следа.

Лишние монастырские помещения заняты под ясли, монастырь — под большую школу для крестьянских детей.

Кузовков хвалил:

— Молодец, Федор!

Федор ухмылялся.

— Образую. У меня не забалуются. Довольно, попановали. Покажу-ка я тебе еще кое-что...

И помчал Кузовкова в депо.

В деповской канаве, под вооруженной охраной, работали князь, игуменья и танцовщица.

Работали в тех же парадных костюмах, в каких были захвачены. Но вид этих костюмов, сплошь залепленных грязью, и вид этой тройки — жалкий, изнуренный, мученический — был таков, что Кузовков едва сдерживался, чтобы не хохотать.

— Хороши? — спрашивал Федор... — На Лубянку их отправить — это всегда успеется. Пусть-ка они у меня прежде тут потанцуют. Канаву два года не чистили. Грязи в ней уйма. Вывезут ее, тогда и баста. А пока...

Крикнул в канаву:

— Князь, вы пятый день работаете, а такому простому, плевому делу, как действовать лопатой, до сих пор не научились. А еще Россией хотели управлять.

Прыгнул в канаву, взял лопату:

— Вот как надо, вот... Имейте в виду, что до тех пор, пока канаву не вычистите, вы из нее не уйдете. На экспрессах умели ездить, а того, как эти экспрессы обслуживаются, не знали. Теперь вот познакомьтесь! Может быть, после этого у вас мозги будут по-иному работать.

К Кузовкову подошли рабочие и с гордостью говорили:

— Вот это комиссар...

— Наш комиссар...

— С таким и работать в охотку. Он сам, первым рылом, в любую грязь лезет.

Кузовков вызвал Федора из канавы. Обнял его, поцеловал и сказал:

— Ну, Федя, еду в губернию. Верю, что, где нужно, у тебя из жмыхов масло потечет.

ГЛАВА VIII

Кузовков вернулся на свой пост председателя губисполкома.

И переживал тяжелые дни, складывающиеся в недели, месяца. И день ото-дня все не легче, а труднее.

Проходили летние месяца, давшие населению республики передышку от тифозной вши; наступали месяца осенние, а с ними опять тифозная вошь с такой страшной силой, точно задалась на этот раз последним победоносным штурмом раздавить все завоевания революции.

У себя, в губернском городе, Кузовков с вошью кое-как справлялся, но в уездах — там работники перед вошью почти опускали руки.

А в подмогу тифозной вши — Колчак, прущий из Сибири на Самару, на Пермь, на Казань, мамонтовские отряды, разрушившие Козлов и двинувшиеся на Воронеж, деникинские отряды, захватившие Борисоглебск и угрожающие Тамбову. Занят Царицын и вот-вот будет занят белыми Оренбург и Саратов.

Кузовков выбивался из сил не столько в борьбе с вошью, сколько с мещанско-кулацким течением, которому казалось, что революции приходит конец.

Его мучило, беспокоило опасение, что если немного успех улыбнется белым, то и его губерния, пережившая чехословаков, будет в руках контр-революции.

Один только уезд из всей губернии был более благополучен, чем остальные, это — уезд Федора.

И в дни, когда даже закаленная воля Кузовкова изнемогала от общей тяжелой картины губернии, уже бывшей сплошным очагом тифозной заразы, Кузовкову представлялись две громадных вши: одна, изображенная в красках на плакатах, расклеенных по заборам, другая — вошь кулацкая и примазавшихся к власти, враждебных

рабочему классу — его скрытые враги и еще неизображенные на плакатах.

Кузовков знал, сколько этой вши влилось в партию в первый и второй год революции; знал, к каким бесчисленным путям и хитростям прибегает эта вошь тогда, когда доступ к партии становится труднее, и знал, как трудна борьба с этой вошью.

И казалось ему, что лезут на него эти вши во множестве, что бороться с этими вшами надо, необходимо.

И однажды, когда ему было особенно жутко от этой вши, он, председатель губисполкома, долго колебался и все-таки не выдержал и написал Федору:

„Мне становится страшно от штурма вши. Вши не только тифозной, но и другой... Какой? — Ты поймешь. Как справляешься с вошью ты? Не задает ли так, как в других уездах? Партия выбивается из сил, да и немудрено: того нет, другого, третьего нет. Правда, чего скрывать — во многом недохватки. Но я кое-что уездам даю, что имею и что в силах. Дам и тебе. Сообщай, в чем нуждаешься наиболее остро“.

И получил от Федора бодрый ответ:

„Борюсь, не сдаюсь и думаю, что не сдамся. Недавно сам переболел сыпняком. Ходил и думал: чтобы меня вошь свалила в то время, когда у меня работы по горло? К чорту! Так всю болезнь и перенес на ногах. Надо помнить, что если вошь под ноготь не возьмешь, так она тебя возьмет. Так уж лучше — я ее, чем она меня. Ничего мне от тебя не надо. Шли, что можешь тем, кто послабже. Перво-на-перво я помню, что в моих руках крупный железнодорожный узел, что недалеко от меня, чуть ли не кругом, фронты белых... Чтоб мой узел работал, как следует, я должен прежде всего беречь рабочих и железнодорожных служащих. Я и берегу. Мыла нет? Устроил мыловаренный завод. Белья нет? Устроил на всех станциях маленькие мастерские, где один кузнец и два-три слесаря делают крестьянам все, что им нужно, а за это получают у них холстом и пестрядиной. Говна около себя чистить не любим, поэтому и вошь нас ест. Мы еще не бедняки. Кто с головой, тот, если вокруг себя пороется, так все найдет. Вот с продовольствием

у меня, правда, туговато. Ну, я и тут, кое-как, верчусь".

Немедленно послал Федору телеграмму:

„Долго у меня железнодорожники кормились скверным хлебом, но молчали. А как дошло дело до овса, — забунтовались и не хотять работать. Кричат: не лошади мы, чтобы могли овес жрать. Посоветуй, как быть?"

Получил от Федора совет:

„Приставь к рабочим с десяток хороших коммунистов, которые были бы способны есть все, что дают в еду рабочим. У меня тоже хлеб аховый: и с овсом, и со жмыхами, и с кострикой, и с мякиной, и чорт знает еще с чем. Но я, вместе с рабочими, у них на глазах ем все, что они едят, и у меня не жалуются, а работают".

Кузовков поступил по совету Федора: подобрал с дюжину таких коммунистов, сам вошел в их число, и положение резко изменилось к лучшему.

Железнодорожники принялись за работу и, вместо криков, требований и угроз, стали на новую точку зрения.

— Эх, видно, за хорошим хлебом надо еще тянуться!

Выходит так. Что-ж потянемся!

Вздохнул Кузовков полегче от того, что удалось предотвратить такую опасную вспышку, как прекращение работ железнодорожников, и сел было писать Федору письмо.

А Федор в это время сам на-лицо явился.

Такой — даже Кузовков удивился перемене в нем.

За эти несколько месяцев работы Федор преобразился: выточен, закален, отшлифован до того, что ни с какой стороны его не укулупнешь. И взгляд в делах административных — проницательный, нотарелый.

— Что, Петруша, нелегко?

— Нелегко, Федор.

— Угадал я. Подумал: что-то ты не стал мне писать, значит, мол, у него неладно. Но у меня пока делишки все на мази. Людей так несколько крепких, надежных откопал и вместо себя оставил, а к тебе решил катнуть на месяц на подмогу. Вали на меня все, что хочешь, как на матерого битюга, — вывезу!

Вздохнул Кузовков.

— Смотри, Федя, надорвешься.

— Что так?

— Да так... Вошь, как ты—под ноготь взять, — не все так умеют. Боятся вши. Белые на нас со всех сторон прут — нужно бы поднатужиться, да хороший удар им в лоб... Вот на это надо набраться сил!..

Встал Федор—злой, вз'ерошенный.

— Наберемся!.. Только на этот счет надо смотреть так, как Ленин говорил: — Лучше, мол, чтобы десять хороших работников не называли себя членами партии, но работали, чем один болтающий имел право и возможность быть членом партии. Я эти слова Ильича через такое сито пропустил, — у меня теперь в уезде — партия на отбор. Дрянь высеял — одну пшеничку оставил. Бездельникам, болтунам у меня места нет. Я так рассуждаю... Вот у меня десять членов партии — девять из них бездельники-болтуны, один дельный, а развернуться ему нельзя. У всех у них одинаковые права, и девять бездельников и болтунов постараются, конечно, самого дельного затереть. Так я выгоняю этих девять бездельников, а одному даю власть за десятерых. Подбирай себе, мол, сотрудников и помощников из беспартийных, рабочих — из кого хочешь — и работай. Но помни: если скверно будешь работать, ты один в ответе. Теперь, ведь, тебе никто не мешает. Спрошу я с тебя: власть дал я тебе за десятерых и отвечай в десять раз больше. И ничего. Работают ребята. Склоки стали меньше, а дела больше.

Помолчал Федор, ухмыльнулся довольно.

— А человечка три-четыре выделилось — любого из них можно смело поставить на свое место.

— Садись-ка вот, Федя, выработаем план, как нам всю губернию почистить. Прикомандируем к себе десятка два толковых работников — и двинем.

— Да уж двинем! — свирепо поддакнул Федор:—Беспартийный народ—чудак народ. Из них много таких: они наши, а как подойти к нам — не знают или боятся. Знаешь, как иные товарищи на беспартийных смотрят? Только отпугивают! А у меня такое правило: к тому

беспартийному, из которого, я вижу — хороший работник может выйти, я под'езжаю белым калачом, а к плохому коммунисту — кирпичом.

Кузовков весело засмеялся и пожал Федору руку:

— Ну, и дока ты у меня!

Федор от похвалы сконфузился.

— Правильно говорю. Я теперь из беспартийных хороших коммунистов пеку. Прежде втяну его в работу, а как он во вкус войдет, как развернется — сам просится: запиши, мол, в партию. Чтож, мол, с нашим удовольствием! А таких, которые прямо к тебе прут и напевают, что коммунистическую программу во как,— по горло разделяют! — таких с большим разбором принимаю.

— Да, двинем... — раздумчиво произнес Кузовков:— Но все-таки надо действовать осторожно. Не будем, Федя, забывать, что положение республики тяжелое. Не будь бы гражданской войны, мы бы с этой вошью расправились круто. Но... война. И когда она кончится, — кто знает?

Тут уж Федор совсем освирепел. Глаза у него засверкали, рыжие волосы на голове ожесточенно зашевелились, кулаками не малыми — чуть-чуть поменьше футбольного мяча — замахал.

— А... к чорту! Не бойся. Говорят: „Бог не выдаст, свинья не с'ест". Скажем: партия и рабочий класс не выдаст, — вошь не с'ест. А партия и рабочий не выдадут революции. Рабочий не понимает, что ли, что ежели он революцию выдаст, так он один ответ за нее держать будет. Все на него тогда, как псы борзые накинутся. Прекрасно понимает! А поэтому, Петруша, будем бить всех, кого следует, — в лоб, затылок, а кого и в переносицу ахнем! Ну, ты подписывай свои бумажки, а я пойду понюхаю, как у тебя тут дела обстоят.

И исчез.

Кузовков долго улыбался. В душе росла вера и бодрость. И думал. „Не бедна Советская Россия Быльниковыми!"

ГЛАВА IX

Прошло три дня.

Кузовков все приготовил для поездки по губернии— и людей, и план работы, — можно бы уже трогаться, да вот заминка: нет Федора.

И лезли Кузовкову в голову тревожные мысли. Вспомнил слабость Федора к спиртному и думал, что пьет в каком-нибудь тайном притоне Федор мертвую.

На четвертый день назначил розыск: выделил из губисполкома и из партии наиболее способных и испытанных работников, приказав им, при помощи милиции, перерыть в городе все подозрительные места.

Но и это оказалось безуспешно.

Не малая орясина Федор: если в большой толпе поставить — будет за версту видна его рыжая голова, и все-таки затерялся в городе, как иголка.

И стал думать Кузовков, что это еще не беда, если бы Федор запил только мертвую. Может быть хуже: не выдержит пьяненькая душа пролетария, станет болтать, кто и что она, а городские притоны полны не только босяками, но и „бывшими людьми", теперь заядлыми контр-революционерами, из которых много военных.

В тревоге за Федора Кузовков осунулся, похудел и обдумывал, как ему, уже под его личным руководством, перевернуть весь город, хотя бы вверх дном, но лишь бы отыскать Федора, если не живым, то хотя бы мертвым.

На шестой день Кузовков вел заседание губисполкома по большим вопросам.

Делалась сводка по наиболее ударной работе, — по сыпняку и снабжению, — выступало несколько докладчиков.

По словам и докладам выходило, что работа, конечно, стоит далеко не на высоте, но, принимая во внимание то-то, и то-то, и то-то — десятки тяжелых условий,— надо признать, что работники обнаруживают верх наход-

чивости и изворотливости, а по временам — прямо героизм.

А Кузовков слушал и припоминал, как неслаженно и волокитно работают почти все учреждения; всматривался с тоской в лица некоторых ораторов, а память подсказывала, что вот эти не плохо работавшие языком люди — на деле часто проваливаются так позорно, что после этого, казалось бы, стыдно рот раскрыть.

А они говорят, не смущаются и мнят себя большими работниками.

Многих из них Кузовков помнил, когда они прилипли к их власти и к работе робкими, заикающимися, неумеющими связать двух фраз новичками; время быстро научило их тому, что в революцию уже окрещено „хорошо подвешенным языком“, но работе — работать они правильно учатся или страшно медленно, или запутываются так, что их совсем надо сбросить со счета, как хоть сколько-нибудь дельных работников.

А те, которые — работники, говорят как раз мало, скупо.

И раздраженно Кузовков напоминал таким ораторам и докладчикам:

— Нельзя ли покороче?

— Поближе к делу!

— Поменьше слов!

И, наконец, уж совсем зло:

— Товарищи, я, кажется, скоро приму за правило считать, что кто способен пространно говорить, то тот только болтун и никудышный работник. У меня есть в уезде один работник, который очень мало треплет языком, но уезд которого по работе можно назвать самым лучшим. Не возьмете ли вы пример с этого работника?

Только сказал — и вдруг просиял: явился на заседание Федор.

Никаких следов запоя на лице Федора не видно; наоборот — так деловит, серьезен, озабочен и так поглядывает, точно готовится чем-то огорошить.

И действительно огорошил.

Вытерпел одного оратора, а когда заговорил другой — особенно звонко, речисто, чеканно, — Федор прежде ухмыльнулся и как-будто умиленно бросил:

— Вот говорок. Ну-ну... Дальше, кажется, ехать некуда.

А потом подскочил к оратору и свирепо взвыл:

— Да пропасть на тебя какая есть или нет?

— Товарищ председатель, прошу призвать к порядку! — резко потребовал оратор.

Федор бешено хватил кулаком по столу.

— К порядку? А то, что вот вы, звонари этакие, революцию лупите в хвост и в гриву — это порядок? Сколько тебе лет?

— Это к делу не относится.

— Врешь, относится. Говори, сколько лет тебе?

Оратор взглянул на председателя и видит — смотрит председатель на Федора и благосклонно улыбается; взглянул на Федора — крупный, решительный детина, который с ног до головы ходуном ходит от злости и возмущения.

А оратор — маленькая аккуратная фигурка, с едва пробивающимися усиками, с изящным пробором на голове.

Что будет, если здоровенный кулак этого детины, похожий по цвету и величине на чугунную полупудовую гирю, ахнет по пробору.

И залепетал оратор:

— Лет мне... лет — 25.

— Врешь, скинешь. Скинь лет пяток. А фамилия? — тоном, не допускающим возражения, командовал Федор и смотрел на молодого человека в упор жестоко, беспощадно.

— ...Каучуковский.

— Каучуковский... Так я и знал, что это ты. Наслышан, голубчик, о тебе, наслышан. Ты, говорят, ведаешь отделом труда?

Молодой человек утвердительно наклонил голову и, утратив отчетливость и чеканность языка, робко начал заикаться.

— Да, ве...ведаю от...делом труда.

— А ты знаешь, что такое труд? Трудился когда или будешь трудиться? — Федор взял руку молодого человека, тонкую, белую, с длинными выхоленными ног-

тями и притянул ее на зеленое сукно стола всем на показ. — Вряд ли ты с такими когтями поймешь, что такое труд. Бумажную волокиту с такими когтями разводить будешь — это верно. Куда засел — отдел труда! А гимназию-то кончил! Насчет тебя, голубчик, я все знаю. Иди-ка ты лучше доучись в гимназии, а потом приходи — тогда поговорим. Тогда, может быть, ты в отдел труда в регистраторы и пригодишься.

— При чем гимназия для коммуниста! — вырвалось и робко и запальчиво у молодого человека.

Большинство посматривало на Федора и удивленно и благожелательно, но Кузовков заметил три лица, на которых ясно выражалось: не пора ли, мол, это безобразие прекратить?

Кузовков взглянул на этих „товарищей". Они как раз были теми темными пятнами, о которых Кузовков не раз и не мало думал. Они как-будто все знали, смело брались за любое дело. А что они делали до революции, какого звания были люди, какой профессии — этого никто не знал.

И, поглядывая внушительно на этих товарищей, Кузовков сказал резко, металлически:

— Слово принадлежит товарищу Быльникову.

— Да, я, товарищи, скажу, — заявил Федор: — я вот приехал сюда, потолкался дней пять по учреждениям, и прямо скажу — мороз по коже у меня от такой работы идет. При какой мы власти считаемся? При рабоче-крестьянской? А приди вот к такому каучуковому молодцу (Федор указал на Каучуковского) какой-нибудь рабочий или крестьянин, он их так примет, что во-век они этого каучуковского молодца не забудут. А таких каучуковых молодцов у тебя, Петруша, — греха не таи, — все-таки не один. А от таких каучуковых молодцов одна польза: губами шлепают, да народ мучают. Но революция — не баба: одним только тем, что будем перед ней губами лепать, ее не возьмешь. Я с такими губошлепами у себя так поступаю. Одному говорю: — иди-ка ты раздели населению картошку. — А другого, надежного, посылаю присмотреть за ним, чтобы не погноил губошлеп картошки. Если окажется — неспособен губошлеп разделить даже картошки, — я гоню вон его. Другому губошлепу говорю: — языком работать ты мастак, но иди устрой мне хороший субботник. Сделай то и то. — Все ему перечислишь. Пойдет губошлеп, и получится у него вместо субботника: в одном месте глупость, а в другом — каторга. В одном месте баб калечат, надрывают — заставляют бревна, или чугунные котлы пудов по пяти таскать, а в другом месте мужики целый день без дела толкутся. Согнать-то их согнали, но на такое место... где нечего делать. И этого губошлепа вон, к чорту. Ну, а те, которые умеют и картошку хорошо разделить, и субботник хорошо устроить, они-то как раз меньше всего и говорят. Это понятно. Положение республики такое. Как вникнешь хорошенько — тут тебе не до разговоров, не до болтовни: стиснешь зубы и думаешь, как бы из этого положения вывернуться.

— Прописные истины, — бросил один из членов с кривой, враждебной улыбкой.

— Азбуке нас нечего учить, — добавил другой.

— Я вам слова не давал, — сурово оборвал Кузовков. — А на счет азбуки, — к сожалению, мы все этой азбуки не знаем, а если знаем, то слабо и должны с нее начинать. И нечего тут обижаться. Надо всегда помнить, что во всяком чину есть по сукину сыну и есть по хорошему человеку. Вот мы и займемся: будем извлекать из чинов сукиных сынов. А пока об'являю заседание закрытым.

ГЛАВА X

Когда Федор и Кузовков остались вдвоем, Федор усмехнулся:

— А не понравилось, ведь, Каучуковским-то!

— Ничего... Пусть. Давно я собирался заняться чисткой, да все откладывал. А уж если взялся, доведу дело до конца.

— Так.... Правильно. Иначе нельзя, — подтвердил Федор, ухмыляясь, и вынул из кармана лист бумаги: — вот посмотри...

Кузовков стал просматривать.

Федор остановился перед Кузовковым.

Обыкновенный Федор, ухмыляющийся, с хитрецой в глазах, как будто совершенно спокойный, а голос пугает, звенит до полного сходства с тембром стали, так странно — точно говорит не человек, а стальной аппарат.

— Будем, Петруша, проверять. Но когда проверим и узнаем что за работником из'яны не малые, тогда, конечно, пощады давать не будем? А? Как думаешь, Петруша?

Руки Федора напряглись в жесте, словно толкнули что-то очень тяжелое.

— В некоторых учреждениях я обнюхал, Петруша, и нашел: скверно работает машина. Суетни, беготни, гаму, людей много, а дела нет. А у меня уж примета: там, где суетня, беготня и гам, там толку не жди. Возьмем, например, двух машинистов: один — плохой, другой — хороший. Дай ты плохому хорошую машину, и он ее разладит. В конце-концов она у него скрипит, визжит, заедает, громыхает, а он мечется и не знает, что ему нужно делать, за что прежде нужно взяться. А хороший — он, не торопясь, и разлаженную машину наладит, а когда она уже налажена — сидит он себе так, как будто и работы-то у него нет. Но это так кажется. Работа у него есть. У хорошего машиниста глаз такой: машина еще не показывает, где она больна, а он уже видит, какая часть у нее не надежна. Машина у него еще не заскрипела, а он уже знает, где она может заскрипеть, и во-время дает ей смазку. У него вся машина на виду: от крупной части до маленького винтика. И у него не может быть такого случая, чтобы сломалась и остановилась вся машина только потому, что испортился прежде какой-то маленький винтик, или отвернулась какая-нибудь гайка. Его эти винтики и гайки не обманут: чуть эти винтики или гайки ослабнут, а он уж по ходу машины слышит, что в машине что-то неладное, и идет докапываться до этого неладного. Так работают хорошие машинисты, Петруша.

Кузовков слушал:

— Я, Федя, понимаю, куда ты метишь.

— Понимаешь, учреждение — тоже машина. Вот и посмотрел я на некоторых машинистов. Благим матом люди ревут от этих машинистов, а они — и в ус себе не дуют от этого рева, или мечутся, но не знают, как этот рев хоть немножко поубавить. Нехорошо. Ведь с живыми людьми имеем дело.

— Понимаю, Федя, понимаю. Но где находить только хороших машинистов?

— Где, а вот... — и Федор вынул из кармана еще лист: — все эта — рабочая братья, которую я хорошо знаю. Записывай их всех в партию, а куда поставить начальствовать — у меня тут намечено. Посмотри-ка!

Кузовков пробежал с полсотни фамилий и указания, какие учреждения эти фамилия должны возглавлять, и заметил:

— Федя, ты уж очень круто сразу берешь.

— Круто!.. — яростно крикнул Федор. — Ты хочешь меня заставить поверить, что белоручки и которые стоят во главе некоторых учреждений у тебя, что они что-то способны сделать. На бумажке едут, бумажкой погоняют, а от этих бумажек люди плачут и дохнут. Вот и все их дело. Белоручки — это еще что. Вот какой-нибудь конторщик или табельщик — друг он нашему брату-рабочему? Каких-нибудь три года тому назад они как на нас смотрели? — Мол, конторщик я, мол, табельщик, а ты кто? Сидели, что-то там перышком царапали и перед рабочими нос драли. Могли они за эти три года переродиться? Дудки! Наоборот, теперь нос дерут еще выше. А в рабоче-крестьянской стране этого не должно быть. Я тебе нашел, Петруша, пролетариев настоящих: таких, которые бумажек не любят, таким — нужно на фронт пойти, и слать не надо, пойдут сами.

Помолчал Федор, сплюнул и заговорил с едкой насмешкой: — эти белоручки вертят своими бумажечками Советскую машину вот как: маховое колесо у машин вот как крутится — аж страшно смотреть. А та работа, которую машина должна выполнить — стоит, ни с места. С такими головами достукаемся до того, — слетит с махового колеса ремень, да так ахнет нас по башкам, что от нас только мокренько останется.

Кузовков взглянул на Федора — и припомнил: видел однажды, на мельнице 25-сильный локомобиль, у которого вдруг бешено закружилось маховое колесо, а мельница остановилась.

Видел, как машинист беспомощно и растерянно заметался около локомобиля, не зная, что делать, и дождался, действительно, того, что ремень сорвался с махового колеса и одним ударом в голову положил машиниста на месте.

И спросил Кузовков:

— А отчего может маховое колесо так страшно вертеться?

— Оттого, что шпонка, которая держит на валу маховое колесо, выскочит.

— А отчего может шпонка выскочить?

— Оттого, что машинист был ротозей.

— А что должен делать машинист, если у него шпонка на валу выскочит?

— Если он не дурак, то должен пар в машине остановить, а сам, пока машина не остановится, должен быть от нее подальше, чтобы она его чем-нибудь не шарахнула. Но у хорошего машиниста шпонка никогда не выскочит: он во-время досмотрит.

Образный пример Федора на Кузовкова подействовал сильно.

Он раньше знал расхлябанность и громоздкость учреждений, но надеялся, что все как-нибудь постепенно наладится.

Но время шло, громоздкость учреждений увеличивалась, штаты росли, а работы — работы все меньше, в работе все больше препятствий и путаницы, все больше чуждых революции „работничков“ и „высококвалифицированных спецов“.

Точно в этом заколдованном кругу чья-то невидимая злая воля поставила себе целью все, что необходимо для революции, все, что должно двигать ее вперед, — убивать и тормозить бездушной, холодной бумажкой. Бумажек потоки, бумажек ворох, и все экстренные, все „чрезвычайной важности“, бумажек столько, что он, председатель губисполкома, подписывает их по 15 часов

в сутки и не успевает: передает их своему заму, но и тот не успевает подписывать.

И бумажки — раздраженные, обидчивые. Нужна помощь фронту, или нужно усилить борьбу с сыпняком— „работнички“ на таких заседаниях кажутся усталыми, замотанными и комкают заседания, не обсудив хорошенько трудности положения, размера помощи и возможности ее осуществления: все как-то наскоро, все как-то на „авось“.

Но когда столкнутся бумажки двух или нескольких учреждений — злые, друг с другом враждующие, — тогда на заседаниях проявляется такой пыл, что пух и перья летят, и для того, чтобы примирить эти учреждения, нужно не одно заседание, а несколько.

На трудовых и боевых фронтах во имя революции совершались чудеса героизма, но когда эти герои нуждались в помощи, они получали иногда „помощь“, похожую на насмешку, или ничего не получали и уходили, проклиная „входящие“ и „исходящие“.

Море бумажек, поток бумажек, и чем больше бумажек, тем меньше работы.

И бумажек хитрых: разгильдяйство, расхлябанность, в иных местах прямые преступления, а виновных за этими бумажками искать трудно. Эти бумажки давно уже стали перед Кузовковым грозным призраком. И когда он думал о борьбе с этим призраком, ему чудилось, что эта бумажная гора, при об'явлении ей войны, так обрушится, — что с ней еще труднее бороться, чем теперь.

Что же делать, когда для него теперь яснее, чем когда-либо: крутится маховое колесо в этих учреждениях с большим грохотом, гомоном, суетой, но в пустую— действительной живой, плодотворной работы от этих учреждений мало, или совсем нет.

Что делать, если худшие машинисты, ведя работу своих машин в такую пустую, — нисколько не смущаются, и звон своих революционных фраз считают за работу.

Что делать, если более добросовестные машинисты сбиваются с ног около этих в пустую работающих машин, но что толку в этих машинистах, если они не знают,

что в большой и сложной машине играет такую страшную и решающую роль какая то незначительная на вид шпонка.

Не значит ли это, что надо менять этих машинистов и искать таких, которые имели бы представление об этой шпонке.

Не ждать, ведь, когда ремни с этих маховых колес будут соскакивать и глушить по голове революции!

Федор взглянул и спросил повелительно и твердо:

— Так как же будем, Петруша? Неужели сдрейфим? Не знаю, как смотришь ты, а я... как походил по учреждениям, как поболтался на базаре, послушал, что обыватели болтают, — а я иногда принимаю во внимание и обывателей: так как потерся между рабочими и мужиками, которых в губземотделах и прочих штуках так мытарят, — дальше ехать некуда; и смотрю так: рыбка, говорят, такая вещь, которую едят с головы, а вот революция — такая рыбка, которую, кому это надо, жрут не только с головы, но и с хвоста.

Федор повернулся и вышел.

Явился минуты через две, а за ним человек пятьдесят. Выстроил перед Кузовковым — и гордо:

— Ребята, перед нами председатель губисполкома. А тебе, Петруша, рекомендую: отобрал тебе на подмогу потомственных почетных. Я не из тех дураков, которые каждого рабочего считают дельным и честным. Но на этих ты можешь рассчитывать, как на самого себя. Эти не подведут. С такими не зашьешься.

Кузовков посмотрел.

Действительно, — отбор: сила, выдержка, серьезные, спокойные лица, знающие себе цену.

Радостно улыбнулся и, обратившись к Федору, указал на двоих молодых парнишек — боевых, задорных:

— Ну, а вот те двое, не молоды ли?

— Ничего, Петруша, — это не каучуки. За себя постоят. Таким и гимназию проходить не надо. А если понадобится университет, они между делом и университетом проскочут.

Еще раз оглянул всех и спросил:

— Товарищи, как вы смотрите на вашу работу в партии?

Рабочие переглянулись. Выступил на шаг вперед зрелый, с проседью в бороде, весь твердый, как кремень, суровый.

— Как?.. Партия — наш авангард. Революция — дело рабочих рук. Что есть капитал? Капитал — коммерция. Революция — не коммерческое дело, а рабочее. А в революцию налезло слишком много коммерческих людей. И вот наши условия: там, где мы будем работать, там, если мы кого заметим, что он залез в революцию из коммерческих расчетов, с такими мы церемониться не будем. В два счета — на выкидку. Довольно мы насмотрелись! Каждому рылу, которое не умеет в руки взять молоток и лопату, следует хорошо вдолбить, не презирать они должны мозолистые руки, а помнить, что живут в стране, где власть принадлежит рабочим. Аминь. Я пока все высказал, товарищ председатель. Что скажете вы?

Еще раз оглянул Кузовков рабочих и с бодрым, радостным чувством подумал: „Гвардия пошла. И быка сразу за рога берут... С такими надо на-прямоту — без политики“.

— Скажу, товарищи, чистосердечно. Говорят: шила в мешке не утаишь. Верно. Глупо ждать, пока оно из мешка покажется и пока о нем на всех перекрестках будут перешептываться. Мы — рабоче - крестьянская власть. Наши дверь для мозолистых рук широко открыты, и, по мере того, как к нам будут приходить не липовые рабочие и крестьяне, а настоящие работники от завода и от сохи, мы будем выпирать всех, для кого революция мутненькая вода, где можно рыбку половить. Я, товарищи, уверен, что рано или поздно, но все эти ловцы очутятся на крючке красного правосудия. У нас в партии были купцы, дантисты, провизора, фармацевты, аптекаря, часовых дел мастера, были даже биржевые маклера и вояжеры. Все эти страшные „революционеры“, жившие в большой дружбе с приставами и городовыми, с исправниками, становыми и урядниками, присосались к партии в первый и второй годы революции, скрывая, конечно, кто они есть, кем они были. Партия знает, что коммунистами они, за редкими исключениями, быть не

могут, и всегда рада освободиться от такого балласта и тормоза. Она освобождалась и освобождается, памятуя, что основным слоем партии должны быть только рабочие и крестьяне... Но, товарищи, занимаясь подобной чисткой, мы не должны поступать круто и опрометчиво, дабы не нарушать на этот счет установленного порядка Цека партии.

— Ничего. Цека партии — наша и, надо полагать, на нас очень не „цикнет", — с веселым смехом бросил один рабочий.

Засмеялись многие рабочие. Заржал Федор. Засмеялся Кузовков и добавил:

— На этом, товарищи, я кончу. Приходите завтра: для каждого из вас будет намечено, что и где он будет делать. Не исключена и свобода выбора. Приходите — завтра — без боязни быть непонятыми, без опасений оказаться чужими: революция — дело рабочих и крестьян, и истинными хозяевами в РСФСР должны чувствовать себя только рабочие и крестьяне.

К Кузовкову подошел тот рабочий, который держал к нему речь. Он взял руку Кузовкова своей громадной черной рукой и так пожал, что Кузовков едва не крикнул. И сказал сурово:

— А вы, видать, славный парень! С вами можно работать. Завтра померекаем — кому, в какой гуж впрягаться.

И обернулся к своим:

— Ну, ребята, выкатывайся!

Рабочие вышли оживленной гурьбой.

Федор посмотрел на Кузовкова победоносно:

— Ну, Петруша, а ты боялся! Кого я тебе привел — орлов!.. А в особенности Игнат — тот, который „аминь"-то сказал. Работа у него спокойная — строгальщик. Ходит его машина, а он почитывает себе книжечки. И начитался — Маркса и прочую премудрость на зубок знает. По-собачьи тоже лопотать умеет! Ему, если бутылка с винцом попадется, он, не как я, прочтет, что за винцо. А насчет жизни и говорить не приходится: дьявол, на три аршина сквозь землю видит. Ему бы в Совнаркоме сидеть! Пристрой-ка ты его при себе замом. Через месяц такой зам будет, лучше тебя, Петруша!

Кузовков добродушно засмеялся.

— Что же, Федя, за три года я порядком устал. И если зам окажется лучше меня, я с удовольствием уступлю ему свое место, а сам, на время, возьму работу поскромнее.

Федор щелкнул себя по лбу.

— Да, постой, чуть не забыл!

И вышел. Вернулся через две минуты с человеком, вид которого сразу поразил Кузовкова.

Федор докладывал:

— Был при царе прежде судебным следователем, а потом товарищем прокурора. Теперь хочет послужить нам. Дельный человек!

Кузовков вопросительно посмотрел на Федора.

— Это ничего. У меня нюх хороший, а у него нюх такой — насобачился судебным следователем-то, поставь сто человек темные дела раскапывать, он один всех перешибет. Я с ним две ночи говорил. Ты, вот, председатель губисполкома, а он больше тебя знает, в каких учреждениях у тебя дыры и прорехи, где сидят караси и щуки.

Кузовков обернулся к человеку:

— Как вы хотите служить нам, когда вы не наш?

Прямо, необычайно умными, остро проницательными глазами, взгляд которых нельзя было выдержать, чтоб не смутиться, человек уставился на Кузовкова.

— Чей я? — До сих пор я этим вопросом не задавался, как при царской власти, так и при красной. Я — служитель закона — и только. Каждое правительство имеет свои законы, но есть закон общий для всех: в атмосфере произвола и правонарушений на каждом шагу, не может существовать ни одно государство. Казнокрады, лихоимцы, люди, занимающие высокие посты и не понимающие, где они совершают произвол и правонарушения; или понимающие, но думающие, что у красной власти нет еще такого ока, которое бы могло раскрыть их деяния, — вот в какой области я хочу у вас работать. В политику я мешаться не буду... и если вы хотите воспользоваться моими знаниями, опытом — вы можете мне доверить, можете контролировать каждый

мой шаг — мне это не важно. Мне важно одно: чтобы люди, имеющие власть, не думали, что закон — это они, а помнили, что закон и блюстители его есть и над ними. Приемлемо ли вам такое сотрудничество?

Кузовков еще раз взглянул на этого человека, припомнил, что за месиво существует в головах, даже ответственных работников, относительно конституции Советской власти.

— Хорошо, вы будете работать при мне. Приходите с завтрашнего дня!

Человек назвал себя „Александр Семенович Крючков“, — откланялся и ушел.

Кузовков лукаво взглянул на Федора.

— Чудак ты, Федор. Никак тебя не пойму. То ты мне говорил, что ни одному полковнику доверять нельзя, что за каждым полковником надо присматривать, а сам волокешь ко мне царского прокурора.

— Ничего, — широко ухмылялся Федор, — из этого толк большой выйдет. Слышал, что он насчет „ока“ сказал. Очень верно. Когда я у себя в уезде стал комиссарить, то все сукины сыны, которые разгильдяйничали или темные делишки обделывали, скоро поняли, что я не сплю, не дремлю, что мое око видит: где и когда кого нужно накрыть. И здорово стали подтягиваться. А я их еще сильнее подтягиваю: доведу до точки — будут понимать какие в революцию должны быть работнички! Ну, а у этого Крючкова — ученая голова — не чета мне. И он нам, Петруша, наудит таких рыб — рот с тобой откроем. Вот он тебе покажет реестрик, как и в чем многие наши работнички отличались и как такие дела по советским законам надо понимать. Такой реестрик — ахнешь! Такой, брат, законник — если мы в чем нибудь промахнемся — нас к ответу потянет. Человек всем, что кругом делается, под шумок революции и гражданской войны, можно сказать накален — до бела. И если бы мы, Петруша, о тобой его не использовали, дураки мы были бы с тобой круглые.

— Да, уж откопал. Вынюхал?

Кузовков припомнил рабочих, припомнил Крючкова, взглянул на Федора и обнял его:

— Ну и сметка-ж у тебя, Федор! С такими работничками можно рискнуть. Теперь давай — двинем!

ГЛАВА XI

Никогда Кузовков не знал такого угара работы, как в эту чистку по губернии. И не один Кузовков: группа, работающая по чистке, доходила до 30 человек, и вся она, как один мозг, как одно сердце, была заражена одной идеей.

А заражал всех Федор.

Он был семижилен, для него устали не существовало, а революционная страсть, клокотавшая в нем, была похожа на котел, в котором безумно дерзкий машинист давно перевел давление за точку дозволенного, возможного.

Кажется, вот-вот взрыв, но нет, котел цел, выдерживает, легко дает силу своего напряжения машине — и машина работает веселым, бешеным, захватывающим темпом.

Иногда Кузовков говорил Федору:

— А не ослабить ли чуть? Ведь, так не выдержим, — лопнем.

— Ни черта! Вывезем! Иначе работу не понимаю, — отмахивался рукой Федор.

Никто из 30 человек не знал и не думал — отдохнет ли он немного, часа два-три в эти сутки. Иные дни по-двое, по-трое суток совсем не спали; иные дни спали маленькими урывками.

Но никто никогда не видел, когда спал Федор. Люди выносили непосильную работу и не тяготились, а испытывали от этой работы только радость, под'ем сил и желание превзойти друг друга.

И все это оттого, что один человек — похож — на удивительно разумную, живую машину, работающую не только точно, без перебоев, но и с тем редким громадным напряжением, когда как будто и напряжения-то никакого нет.

Налицо — большие положительные результаты работы, а видимость — как будто эта работа идет шутя, легко, без надсада, без натуги — сама собой!

Федор был заряжен чем-то таким, что давало ему возможность управлять в совершенстве и собой, и другими: он умел угадывать не только то, кому и какую работу дать, но и то, как в каждом человеке вызвать находчивость, инициативу.

И все 30 человек сознавали, что они работают так: они совершают большое революционное дело, ответственное дело, но оно проходит в таком сладком чаду, в таком головокружительном угаре, как будто они играют какую-то чудесную пьесу, где зрители — весь народ,— и где нельзя допускать ошибок и выказывать слабость, ибо все время над ними есть бдительное око великого режиссера, у которого нет ошибок и нет слабости.

И пьеса эта начиналась так:

В каждый уездный город старались нагрянуть внезапно. И пока никто не знал, что явилась грозная ревизия, все 30 человек, включительно до Кузовкова (который, чтоб не быть узнанным, как предгубисполкома, ходил в эти дни в гриме), все на день, на два рассыпались по всем учреждениям, толкались между обывателями, рабочим людом, потом собирались на сводку.

— Ну, товарищи, как земля слухом полнится,—рассказывайте! — изрекал Федор, выкладывая перед собой маленькую записную книжку, которую называл „все мое делопроизводство“.

Все участники передавали собранные сведения, свои наблюдения, впечатления, выводы — Федор слушает, изредка берется за книжечку, черкнет в ней так быстро— нето одно, два слова написал, нето одну букву, нето просто какую-то линию провел или поставил точку—и все.

Слушает дальше, посмотрит на Крючкова, у которого писанные листы чуть не с быстротой стенографии мелькают один за другим и поморщится.

— Крючков, много бумаги изводишь!

Кончена сводка.

Лицо власти всего уездного города более-менее известно.

Завтра губернская ревизионная комиссия, а вместе с ней и губернский трибунал об'явят себя официально. Завтра комиссия посетит все места заключения и разберет дела тех, кто осужден, и тех, кто еще находится под следствием.

А после завтра перед трибуналом предстанут все те, кто вольно и невольно оказался грешным перед рабоче-крестьянской властью.

Иногда этих вольных и невольных грешников набиралось до пятидесяти и более человек — и спали все эти люди и не знали, что записаны они у Федора на трех, четырех листках и что, завтра, после завтра, когда Федор посмотрит на них, послушает, что они будут говорить в свое оправдание — и одних тогда будет ждать свирепый нагоняй, других суровая кара.

Наставал судный день.

И если у Федора против власть имущих, еще до суда над ними, было много веских, серьезных улик, Федор ходил и бурчал: „Ой, дубинушка, ухнем“.

И все товарищи знали, что если Федор так бурчит, значит будет он к виновным беспощаден.

Трибунал состоял из пяти лиц: Кузовков, Крючков, Федор и еще двое.

Кузовков председательствовал, Крючков, остро-проницательного взгляда которого нельзя было выдержать, чтобы не смутиться, пред'являя обвинения, вел допросы; Федор молча смотрел и на обвинителя, и на обвиняемых с таким загадочным лицом, по которому нельзя было угадать, к чему он склонен к оправданию или к наказанию.

Обвиняемый допрошен. Следовал приговор, в жестокости которого Федор играл немалую роль.

Если остальным членам трибунала мера наказания казалась слишком жестокой и они начинали возражать, — Федор хмурился и просил:

— Бросьте! Чего время попусту на зрящие слова терять? Худая трава из поля вон! Какие тут разговоры?

И если после этого члены трибунала настаивали на смягчении, Федор гневно закатывал такую обвинительную речь — нет конца еще этой речи, а всем уже ясно, что прав Федор.

Крючков часто снимал очки, смущенно протирал их, вновь одевал, вновь снимал, наконец, забывал очки, —держал их перед собой, как вещь, в которой никогда не

нуждался, и слушал Федора, не спуская с него зачарованных, восхищенных, близоруких глаз.

Кончал Федор речь. Крючков бросался к нему, жал Федору руки и влюбленно, восторженно заявлял:

— Правильно, Федор Василич! Совершенно особая пролетарская точка зрения, — незнакомая мне, но с которой я не могу не согласиться. Боже мой, если бы вы, Федор Василич, в свое время получили юридическое образование, какой бы из вас вышел великий законовед, вы бы все Римское право опрокинули — к чорту, „вверх тормашками“!

Федор сердито рычал:

— Ну, да, конечно... Каждый раз ты меня, книжный крючок, казауист, вызываешь на „пролетарские точки зрения“. Лучше бы ты их без слов понимал, и не заставлял бы меня время на них терять!

А косился на Крючкова нежно, нежно.

Бывший царский прокурор и красный рабочий в общей работе спаялись в крепкий, преданный, ненарушимый союз.

ГЛАВА XII

Бывало наоборот.

Какому-нибудь обвиняемому трибунал находил нужным, необходимым дать наказание — иногда хотя бы небольшое, но Федор изрекал: „поросенок“ — и это значило, что обвиняемому никакого наказания быть не должно.

Таких поросят трибунал отпускал под впечатлением, что над ним произведено только предварительное следствие, а на завтра они вновь представали перед трибуналом, но уже действовал с ними один Федор.

Тут же присутствовали все местные работники, которые отличались на работе, или хотя бы вели работу чуть сносно, но честно, добросовестно.

Федор делил на козлов и овец: работников на одну сторону, поросят, — виновных в небольших хищениях, сделанных явно, под влиянием голода, вследствие плохого обеспечения, виновных в мелких правонарушениях по недомыслию — на другую сторону.

Становился свиреп и грозен так — рта еще не раскрывал, а „поросят“ уже охватывала смертельная дрожь.

Начинал с высокой ноты:

— Будем говорить по-просту, без затей — по-рабочему! Вы что же... себе думаете? Ну, допустим, революция здорово расшвыряла купцов, капиталистов, помещиков, офицеров, генералов и прочую нечисть. У всех этих господ, которые в живых остались, такие на лбу шишки вскочили от революции — сами будут помнить эти шишки до гробовой доски, да еще лет на сто своим потомкам закажут! Тут спора нет. Но не думаете ли вы, что все дело сделано? Знаете ли вы, что эта стена, которой окружены трудящиеся, пострашнее и покрепче великой китайской стены? Ту стену легко разрушить, — и не воздвигнется она уже вновь. А вот та стена, которой окружены мы, рабочие и крестьяне, тысячи лет ее строили наши захребетники — и не думайте, что мы эту стену разбили. Мы ее слегка пошатнули, слегка потрепали, а вы, ротозеи чортовы, спите, разгильдяйничаете, лодырничаете, мозгами тупыми плохо ворочаете и не видите, как эту стену наши враги вновь укрепляют, как потихоньку и незаметно вставляют кирпичики и подмазывают. Как же вас судить? Явных, белых контр-революционеров расстрелять — и дело с концом! А вас — расстрелять мало. Контр-революционеры защищают свой класс, защищают себя, а из вас жилы надо тянуть за то, что недавно из ярма вылезли... а теперь что... по проклятым хомутам что ли соскучились и вновь хотите в эту упряжку влезть? Ну, еще туда-сюда, если бы у вас хорошего примера не было... Но у вас были примеры! Вот они... Эти товарищи, когда у них мозоли кровавые были, вникли в эти мозоли, не забыли их...

И Федор обращался к другой стороне. Он разбирал их работу, подчеркивал ее значение, благодарил их от имени революции, выражал им впредь доверие и тут же давал им повышения.

— Это, действительно, коммунисты! А вы, — и Федор вновь кидался на „поросят“: — Почетное ли звание — ком-

мунист? Гордились ли вы им? А, гордились! А что вы с этим почетным званием делали? По грязи его на показ перед всеми беспартийными волочили? Контрреволюционерам давали повод беспартийным говорить, что вот де, мол, каковы коммунисты? Ах, вы паршь этакая! Нужны ли вы партии — навоз такой? Каким судом судить вас — красных контр-революционеров, красных саботажников!

Так долго гонял Федор „поросят“, то вгоняя их в холод, то в испарину, то создавая им слабую надежду, что в живых-то их все-таки оставит, то, что этот страшный, могучий человек, в ярости своей похожий на дьявола, и до расстрела не допустит, а тут же на месте, своими богатырскими кулаками, пощелкает им черепа, как орехи.

И велика была радость „поросят“, когда все кончалось благополучно.

Федор великодушно прощал все их прегрешения.

Давал им немалую работу почиститься самим и почистить все злачные места в уезде, предупреждая, что если работа не будет выполнена, тогда — пощады не будет!

Трибунал видел, что, после такой бани, „поросята“ действительно, постараются, и отпускал их с миром.

Чистка уездного города кончена.

Денек передышки — и в следующий город, Федор исчезает часов на шесть и возвращается на-веселе.

От трезвого Федора нет и следа.

Брал гармонию. Громадную, сделанную по специальному заказу в Туле, с особой гаммой — целый оркестр.

Играл с душой, мастерски.

Мать моя, жена моя, жизнь моя! Только бывало и отрады в этой гармошке.

И у Федора, у железного Федора, текут слезы
Оглядывается, видит вокруг себя любящие его лица.
умиления.

— А теперь хорошо! Есть друзья, есть работа... Товарищи, вы походите-ка по городу, послушайте-ка, что народ говорит. Вот, говорит, это Советская власть — настоящая! От такой власти всем шкурникам и белогвардейцам не поздоровится. Приятно послушать, что народ говорит.

И работать приятно. Ну, громыхнем Интернационал! Гимн наш — рабочий!

Играл и пел сочным, бархатным басом.

Приходил в мечтательное настроение.

— Вот, когда сокрушим всех буржуев — попрошу я тогда у Советской власти громадное заводище. И буду этим заводищем управлять. Изобретать машины буду. На это моя башка — мастак! Ежели мне дать возможность, я, может быть, такого чорта стального изобрету, — все рот разинут! Только бы скорей буржуев и прочую нечисть сокрушить.

Но недолго Федор находился в „мечтательном настроении“. Проходил его хмелек, и он опять становился крепким, твердым Федором, думающим о работе и только о работе.

ГЛАВА XIII

Ревизионная комиссия и трибунал побывали во всех уездах.

Оставался только уезд Федора, в который, конечно, и заглядывать бы нечего, если бы не некое обстоятельство: Федор вдруг заволновался, забеспокоился и твердил:

— Чует мое сердце, что у меня что-то там неладное... Что-то очень скверное. Надо мчаться!

Оставить Федора вывертываться, может быть, из большой беды одного, Кузовков не мог.

Он приказал комиссии возвращаться в губернию, а Федору заявил, что едет вместе с ним.

Не хотел отстать от Федора и Крючков.

Бывший прокурор долго ходил, нервно потирал руки, пока решился сказать:

— Федор Васильевич, возможно, что вам понадобятся мои услуги. Я был бы очень рад, если бы еще удалось поработать с вами.

Федор хитро, с любовью, ухмыльнулся:

— Так, Петруша, значит и царская юстиция с нами хочет! Что ж, юстиция, поедем и поработаем вместе, дымогарные трубы у паровозов будем чистить!

— С вами я и трубы согласен чистить! — нето шутливо, нето серьезно ответил Крючков.

Федор пожал Крючкову руку и пробурчал:

— Посмотрю, прокурор!

Уезд Федора оказался по работе и по порядкам действительно образцовым. Прежде всего, продотрядники... Федор подтянул их так, как обещал: ходят в лаптях, но не слышно, что они мародерствуют. Перед Федором — и трепещут и уважают его.

Работают сотни людей, имеются десятки административных аппаратов, и во всем чувствуется, что тут управляет единая, крепкая разумная воля.

Во всех учреждениях висят плакаты. Изображен спесивый чванный администратор, морящий целую толпу ожиданием, а внизу надпись: „Уисполком просит помнить: не население для администратора, а администратор для населения".

„Виновные в бумажной волоките будут приравниваться к скрытым контр-революционерам".

„Здесь нет бумажки на дверях: „без доклада не входить". Просят только соблюдать очередь".

А в самом уисполкоме на всех дверях:

„Для имеющих жалобы уисполком открыт в любой час дня и ночи. Жаловаться можно на какую угодно шишку, хотя и на самого предуисполкома, без боязни быть наказанным".

„При рабоче-крестьянской власти есть начальники, но не должно быть ни начальнических замашек, ни начальнического тона. На таких плохих начальников просят приносить жалобу самому предуисполкома".

Кладбище паровозов сильно поредело.

Десятка два паровозов было пущено в работу с кладбища просто: испорченную часть заменяли такой же здоровой частью с другого паровоза.

Федор показывал на декапод:

— Вот, чорт, сто вагонов упрет, а он при начальнике депо полгода на кладбище стоял только потому, что у него поршневые кольца стерлись. Кольца—плевок, токарю и слесарю на сутки работы.

Всюду чувствовался ретивый хозяин, перед которым дрожат все виновные, и к которому безбоязненно и доверчиво идут все чем-либо обиженные: рабочие и мужики, и просто обыватели.

Кузовков и Крючков рассыпались в похвалах перед Федором, а Федор становился все мрачнее и твердил:

— Это ерунда! Пустяки. А вот есть у меня что-то скверное. Чую:

Это мрачное настроение не помешало Федору пошутить над Крючковым!

— Захватил его с собой чистить дымогарные трубы.

После такой восьмичасовой работы Крючков вернулся к Кузовкову измученный, вымазанный, смешной, но счастливый.

— Я рад, что поработал с Федором Васильевичем. Кажется, этот экзамен я выдержал перед ним неплохо!

Наконец, Федор угрюмо заявил:

— А знаешь, Петруша, я, кажется догадался, где собака зарыта. Помнишь, те две буквочки: „п" и „М"?

— Помню! — вспыхнул Кузовков: — Мне — и забыть?

— Ну, вот там у меня, кажется, неладно. Больше негде. Я завтра же еду туда. Откладывать тут в долгий ящик не приходится.

Кузовков засмеялся:

— Чудак ты, Федор! Значит, полковнику Макееву не веришь.

— Не верю!

— А прокурору Крючкову вот веришь! Какая разница?

— Разница есть! Завтра же еду.

— Да поезжай! Разве тебя, упрямого, уломаешь! Но, по моему, прежде чем, может быть, по-пустому ехать—справься об этом полковнике где следует!

Федор обозлился:

— Дурак я — учить меня? Уж справлялся! Да только что-ж... Губошлепы, ротозеи: „Следим, говорят, за полковником в оба, как вы наказали, товарищ председатель. Пока что — все благополучно. Это уж нам хорошо известно... „А я, вот, думаю, что там не благополучно. Прокурора Крючкова я морду каждый день вижу—и вижу,

что морда хорошая: верить ей можно. А морду полковника Макеева я три раза видел и каждый раз думал, что верить этой морде опасно. И уезжая наказывал: смотрите, мол, за ним строго! И, если окажется, что плохо смотрели, я покажу тут некоторым молодцам небо в овчину. Положение у нас сейчас такое. Воинской силы у нас нет — всю на фронт угнали. Есть приказ: через три дня и полковник с своей частью должен переправиться на фронт. И если он контр-революционер и не дурак, то он именно этим положением должен воспользоваться. Завтра же туда еду!

Федор оказался прав.

К вечеру получилось сообщение, что полковник, пользуясь несознательностью красноармейских частей, поднимает в деревнях восстания под лозунгом:

„Вся власть народу, но не коммунистам“.

„За Советы, но без коммунистов“.

Пришла очередь забеспокоиться Кузовкову.

У полковника Макеева — тысяча штыков. Выставить против него достаточную силу—такой не найдется в наличности даже при губисполкоме, ибо все брошено на фронт.

Иного выхода нет, как сообщать в центр и ждать оттуда помощи. Но когда эта помощь придет,—сколько прибавится у полковника сил, в лице примкнувших к нему деревень?

Сообщил Кузовков свои соображения Федору.

Федор с момента получения сообщения вдруг стал живой, шумный, веселый, что заставляло Кузовкова недоумевать.

А когда Федор на соображения Кузовкова расхохотался, Кузовков не выдержал:

— Что же ты хохочешь? Положение, чорт знает, какое — в уныние можно впасть, а ты горло дерешь.

— В уныние? Федька Быльников впадает в уныние тогда, когда не знает, что ему надо делать. А когда знает — он знает, что надо не унывать, не голову вешать, а действовать. И брось ты, Петруша, свои дурацкие мысли о центре. Пока в центре будет суд да дело, полковник Макеев нам столько каши наварит, что ее не расхлебаешь. Давай-ка ее расхлебывать с тобой без центра.

— Но как? Не вижу никакого выхода.

— А я вижу. Не сидеть же нам сложа руки и ждать, пока полковник припожалует к нам. Ведь расстояние какое — 25 верст! Что ж тогда — бежать? Но бежать стыдно. Пойдем лучше сами навстречу полковнику.

Кузовков растерялся:

— Я тебя, Федя не понимаю. То-есть, как пойдем? С кем пойдем? И с чем пойдем?

Федор опять захохотал:

— С кем? — Вдвоем. С чем? — С голыми руками. Разве революция этого не стоит?

Кузовков молчал. Федор прошелся несколько раз по комнате как-то особенно грузно, увесисто — половица заскрипела — остановившись около Кузовкова, положил ему руку на плечо.

— Вот что, Петруша. Надо полагать, что у полковника части малосознательные, неустойчивые, если он их поймал на такие глупые лозунги. А то, что неустойчиво, то не страшно; кто посильнее толкнул, тот и свалил, куда ветер сильнее подует, — туда и склонится. Воевать нам с полковником не с чем: у нас нет оружия, нет воинской силы. Но у нас, Петруша, есть головы на плечах. И вот ежели хочешь со мной рискнуть своей головой, — план мой таков: я слепец, добывающий себе пропитание гармошкой, ты мой поводырь. Мы пробираемся к полковнику и делаем попытку вернуть красноармейцев на свою сторону. Удастся нам это — можно считать, что мы с тобой обварганили большое дело, рискнули только своими головами и предотвратили кровопролитие, в котором, может быть погибли бы тысячи голов. Вот мой план. Как он тебе нравится?

Кузовков почувствовал, что с него спала тяжесть.

Захотелось опасностей, риска. Он смело повел плечом и так же весело, как Федор, ответил:

— План прекрасный! План соблазнительный! План такой, от которого я ни за что не откажусь!

— Добре! Сегодня в ночь тронемся. Давай готовиться.

Федор нашел, что его руки опасны: похожи на руки рабочего, а не мужика.

А у Кузовкова руки опасны тем, что слишком белы: у мужика тоже таких нет.

Не годятся волосы на головах, как у Федора, так и у Кузовкова.

Не годится у обоих цвет лица.

Одним словом нужно трансформироваться с ног до головы.

И стали трансформироваться.

Пришел Крючков и видит: Федор наводит чистоту — отмывает руки.

Нелегко отстает стародавняя рабочая грязь, но нещаден Федор к своим рукам. Отпаривает их чуть не в кипятке, трет с керосином, с песком и так свирепо скоблит их ножом, точно это какое-то дерево, которое ему нужно сокрушить.

А Кузовков наоборот: берет землю с цветочных горшков, превращает ее в пыль, мажет руки деревянным маслом и... втирает усердно пыль в руки.

Покрутил головой Крючков: ничего не понимает.

Когда руки Кузовкова превратились в серобурые, Федор сказал:

— Довольно! Хватит!

Затем свои руки потер в деревянном масле с пыльцой — и у Федора руки серобурые.

Хорошие волосы у Кузовкова: черные, пышные — под Лассаля!

А Федор берет ножницы, грубо карнает эти волосы под „кружало", потом ходит вокруг головы и присматривается: там клок выхватит, там выхватит.

И бурчит:

— Добре! Надо — патлами... патлами!

И у Федора рыжие волосы не плохи; светят бронзой, вьются кольцами.

Берет уже Кузовков ножницы и обрабатывает волосы Федора.

А затем и на волосы идет деревянное масло и пыль.

Хорошо обрабатывают друг друга Федор и Кузовков: нет уж у них волос, а есть, действительно, безобразные, грязные патлы.

И опять покрутил головой Крючков: ничего не понимает.

И вдруг заволновался, заторопился: схватил деревянное масло, схватил пыль и трет прокурор в масляной грязи свои тонкие, белые, с синими прожилками, руки.

Покосился Федор.

— Ну, нет, юстиция!.. Это ты оставь! Этот номер не про тебя.

Руки прокурора задвигались в масляной грязи еще усерднее.

— Я не знаю, в чем дело, Федор Васильевич. Но, как хотите, а так нельзя! Вместе мы работали, — вместе и впредь должны работать. Имейте в виду: я от вас не отстану!

Сердится Федор.

— Да пойми, ты Фемида несчастная: никто от твоей работы не отказывается. Дай бог таких работников побольше. Но только в этом деле, которое мы с Петрушей затеваем, не нужен ты, — лишний ты. Вот в чем суть!

Очень обижен прокурср.

— Федор Васильевич, вы говорите большую несообразность. Никогда, ни при каком деле дельный человек не может быть лишним.

— А это, юстиция, ты верно сказал.

— Вот видите!

— Видеть то вижу, да только не знаю, как быть...

Смотрит Федор на Кузовкова. Кузовков как будто не против. Разводит Федор руками.

— Не знаю, как быть. Главное-то, вот в чем юстиция: идем мы с Петрушей на такое дело, где легко голову с плеч потерять. Дело у нас опасное.

— И все-таки я с вами, Федор Васильевич, пойду! Все-таки не отстану. А насчет головы — вы меня не запугаете. Умная голова — вещь редкая и дорогая. Но беречь, хотя бы и умную голову на плечах во что бы то ни стало — не всегда следует. Если бы все умные головы так себя берегли, как берегут тупые, тогда бы мир вперед плохо двигался.

— Вот чорт! Вот умный! Никак от него не отделаешься, — восхитился и смутился Федор, обращаясь к Кузовкову. А затем просиял — нашелся: все-таки, я тебя

юстиция, не возьму! У тебя, вон, даже волосы на голове не подходят. Бобриком они у тебя — патл из них не наделаешь. А это может навести на подозрение, может провалить нас...

— Насколько я понимаю, Федор Васильевич, вам нужна подделка под грязных, обросших мужиков. Ну, вот вроде тех, которые по большим дорогам шатаются. Насчет бобрика вы правы: это может навлечь подозрение. Но не забывайте, что не все мужики с патлами: есть и лысые. И я иду сейчас к парикмахеру и возвращаюсь оттуда лысым.

И прокурор, не дожидаясь, что скажет Федор, быстро вышел.

Явился через полчаса с бритой головой.

Федор и Кузовков свою трансформацию уже закончили, принялся Федор за прокурора. Втирал ему масляную грязь крепко бесцеремонно в кожу лица, головы и приговаривал:

— Вот так... вот так... У настоящего российского мужика пыль да мякину откуда хочешь выгребай: из носу, из ушей, из патл. Без этого наш мужик—не мужик.

Готов и прокурор.

— Петь, юстиция, умеешь? Жизнь наша с сегодняшнего дня такая: я — слепец, ты — тоже слепец, Петруша наш поводырь. У меня — гармошка. Ходим мы по деревушкам, местечкам, уездным городкам добывать себе пропитание. Я играю на гармошке, пою, — ты мне подтягиваешь. Говори, что знаешь?

— „Разлуку", „Пожар Московский", „Коробочку". Да мало ли, что знаю, Федор Васильевич!

— Попробуй, налегай на нос: старайся, как бандуристы, немножко гнусавить. Без этого деревенский народ нас и слушать не станет.

Часика полтора репетировали — и спелись хорошо.

Кузовков хохотал до упаду. Федор ухмылялся, а прокурор был серьезен. Осталось последнее — одеться. „Десять человек Федор поднял на ноги и целые вороха перерыл, пока не нашлось подходящего.

Зато из уисполкома вышли три мужичка в ветхих азямах, в рваных шапченках, в латаных посконных штанах, в старых лапотках с грязными-прегрязными онучами, в пестрядинных рубахах, на поясках которых болтались традиционные желтые гребешки. Часа два бродили около депо и по улицам эти мужички, и никто не узнал в этих мужичках, что один из них председатель уисполкома, другой — председатель губисполкома, а третий — красный прокурор.

ГЛАВА XIV

Ночью автомобиль подвез мужичков верст на 25 а остальные верст 10 мужички, то большаком, то узкими лесными тропинками, увязая по колена в снегу, пробирались пешком.

Федор был весел, — шел с шутками, прибаутками, словно шел не на опасность, а на легкую, забавную проделку; серьезный Кузовков невольно поддавался настроению Федора и смеялся, но зато прокурор был так все время серьезен, сосредоточен, — точно перед моментом, когда он выступит с громовой, обличительной речью.

В уездный городок, где помещался штаб полковника Макеева, пробрались благополучно, обойдя две заставы пьяных патрулей.

Федор на этот счет вывел заключение:

— Порядка у полковника нет, дисциплины нет, а раз так, — значит, быть бычку на веревочке!

Спал еще уездный городок, когда Федор провел Кузовкова и Крючкова к своему другу — железнодорожному машинисту.

Узнал машинист, с какой целью Федор явился — и ахнул:

— С ума сошел! У этого полковника войска-то сколько, — тысячи; у него — пушки, пулеметы, а вы что же — втроем его хотите одолеть? Убирайтесь вы отсюда поскорее, пока ваши головы целы, да меня пока не подвели.

Федор подморгнул.

— И все-таки, дружище, надеюсь, одолеем. Мы даже по револьверу с собой не захватили. Хотели по такому

маленькому кольтику взять — под мышками можно спрятать, — да и то раздумали.

— А вот когда попадете к деревенским кулакам, — тогда узнаете, как „раздумывать". Этих кулаков к полковнику собралось пропасть! И пощады, конечно, от них не ждите.

— С тремя револьверами против пушек и пулеметов ничего не поделаешь, а влопаться из-за них можно. Померяемся с полковником другим оружием. У кого из нас в голове больше — тот и победит. — А я думаю, что у нас в голове больше, чем у полковника.

Машинист посмотрел на Федора и покачал головой:

— Шут ты... рыжий шут!... Сколько я тебя знаю, — другой бы на твоем месте десять раз голову сломал, а тебе все сходит. Может, и на этот раз сойдет. Валяй! Если в чем понадоблюсь — можешь и на меня рассчитывать.

Часам к двенадцати мужички поодиночке, с осторожкой, выбрались из домика машиниста и, соединившись в процессию, тронулись: впереди Кузовков — поводырь, за ним с гармошкой через плечо — слепец Федор, а за Федором — слепец Крючков.

Идут ладно: придерживают друг друга, с посошками в руках — точь в точь заправские слепцы. На дворе — март, оттепель. Оседает и буреет снег. Над городом носятся тучи воронья.

На Соборной площади, — она же и базарная площадь — огромной, как и во всех почти уездных городах, — чуть-чуть поменьше всего города, — большой людской скоп.

Тут и мужики - обыватели городка, тут и красноармейцы.

Перед выходом на площадь, на углу одной улички, слепцов остановил блюститель „порядка".

— Куда прете? — грубо выдавил из себя толстый, краснорожий, типичный царский городовик.

— А туда, батюшка, где сирым и убогим кусочек хлеба подадут! — спокойно и смиренно ответил Кузовков.

— Документы есть?

— Документы? Как же, как же... без документов нельзя! — и Кузовков вытащил из-за пазухи три паспорта — старых, потрепанных, таких же пыльных, как слепцы и поводырь.

Городовик посмотрел, вернул и подозрительно:

— А по большевистским местам, по коммунии - то этой ходили?

— А как же, батюшка? Кто не ходил, ежели везде она — эта коммуния-то?

— Сейчас откуда?

— Из Стрешнева.

— А зачем?

— А затем... — подал голос Федор, — прослышали, что слобода здесь старая возвращается.

— Какая такая старая слобода?

— А такая... базары открываются. В коммунии какая же слобода, ежели там базары закрываются?

— А - а, почувствовали, — и городовой расплылся в улыбку.

— А где на ночь помещаетесь?

Федор униженно закланялся.

— На ночь. На ночь-то где придется. Где добрые люди приютят. Может, ты, господин хороший, ночки на две где-нибудь у себя в уголке нас, убогих, приткнешь.

— Чего захотел! Вшей от вас тифозных набраться? Идите!

— Вошь — божья, как и все на земле божье! — скорбно промолвил Федор. — Нагрешили, нагневили бога — вот он и послал на нас вошь тифозную.

— Говорю — иди! Чего распространяешься? Мылись бы побольше, грязнули. Давала бы побольше коммуния мыла, вот бы и не было вши! Царь, говорят, плох, а вши при нем никогда столько не разводилось.

Слепцы тронулись.

Отойдя немного, Федор чуть приоткрыл глаза, высмотрел, где толпа побольше, и шепнул Кузовкову, чтобы вел к этой толпе.

ГЛАВА XV

В толпе было много мужиков, а еще больше красноармейцев.

Кругом торговали, с возов и с лотков, всякой снедью. Шли советские деньги, в почете — царские.

Открыто продавался самогон и уже немало было пьяных.

Над толпой кружился большой спор.

Мужики ожесточенно стояли за полное уничтожение Советской власти. Часто указывали на стоящую неподалеку виселицу, на которой был повешен уездный продкомиссар, и ревели:

— Где это видано, когда это видано, чтобы хлеб почти задаром у землероба отнимали? Вот он — пусть повисит!

У продкомиссара был вспорот живот, набит до огромных размеров соломой, к груди прикреплен большой кусок картона с надписью: „Вот тебе продразверстка“.

У красноармейцев настроение было неопределенное, колеблющееся. Надрывался громче и горячее всех охрипшим, — видимо давно уже трудится, — надтреснутым басом один красноармеец.

— Товарищи-крестьяне, как я сам крестьянин, то и вы должны послушать меня. Смотрите, товарищи, как бы нам не попасть из огня, да в полымя! Верно, я того не спорю — непорядков при Советской власти много. Ну, а при царях непорядков не было? Нас не забижали? А цари-то сколько царствовали? — Сотни лет! А Советская власть стоит сколько? — Без году неделя! Вот я и говорю, смотрите, как бы нам не прошибиться. Как бы нам, крестьянам, еще хуже не было?! Опять придут нами командовать баре, да помещики, а что это за хрукты — кто из нас не знает?

— Не придут! Не допустим! И земли не отдадим! — ухали злобно голоса мужиков.

— Вы думаете, что не придут. А они придут и землю у вас так оттяпают, что и не заметите. А когда заметите, — поздно уж будет. Кто землю нам дал? Советы!

Так как же вы хотите разогнать Советы, ежели они дали вам то, чего никто не давал?

Мужики смущены, сбиты. Мнутся, чешутся, вздыхают.

— Да мы что? Мы не против Советов. Советы пусть остаются. Мы — против коммунистов. Полковник нам говорил, что продразверстку придумали каманисты, а Советы были против продразверстки. Значит, так и будем: за Советы, но без каманистов!

Снял Федор с плеча свою гармошку и грянул марш „По сопкам Манчжурии“.

Многие из мужиков и красноармейцев сейчас же бросили спор и окружили слепцов.

— Ну, и слепак! Вот это играет!

— А гармонь-то, гармонь — то короб, а не гармонь!

Сыграл Федор „По сопкам Манчжурии“, перешел на „Разлуку“. Поет. Крючков ему подтягивает.

А после „Разлуки“ заиграл „Долю бедняка“ и запел; так запел, что вся площадь спорить перестала и сгрудилась около слепцов.

Стояли мужики и красноармейцы так тихо и понуро, точно служили им обедню великого народного горя.

ГЛАВА XVI

Кончил „Долю“ Федор. Повалили к поводырю, жертвовали, так густо, — уминал, уминал поводырь деньги в шапке, дальше уминать некуда. И заявил поводырь, низко кланяясь народу:

— Братцы, довольно! Хватит с нас. Благодарим!

И опять вспыхнул было спор.

— Вот она какая была доля-то наша! За то ли мы на Карпатах и в прочих местах, а потом здесь, на своей родной земле кровь проливали, чтобы опять к этой проклятой доле вернуться?

— Не вмешаться ли нам? — шепнул Кузовков Федору.

— Рано. Подожди немного! Удобного момента не пропущу.

И Федор лихо ахнул „Барыню“.

И опять спор затих.

Врывались в „Барыню“ восхищенные голоса.

— Вот чорт! Мертвого раскачает!

— Вот игрок! Отдай все — да мало!

— Эй, кто хочет — выходи!

— И выйдем! А как думал? Никакого терпенья нет — поджилки ходят!

Образовался круг.

Выскакивали один за другим плясуны.

Охватил площадь плясовой азарт, как больного пляска „святого“ Витта.

— Жги! Ж-ж-ги! Говори! Го-во-ри! При-говар-рррри-вай!

— Выкоммарр-ивай!

— Отчубучивай!

— Так его... так его...

— Бей деревенский лапоть красноармейский сапог!

— Рылом лапоть до красноармейского сапога не дорос!

Кто-то заметил и крикнул:

— А слепак-то, слепак-то — плечами-то, как водит, ногами-то, как работает! Наверное, и в плясе всем пить даст!

Федор оборвал „Барыню“.

— Да уж тряхнул бы стариной, ежели бы кто сыграл!

Подскочил к Федору красноармеец:

— Давай, паря!

Уверенно взял гармонию, уверенно было побежал пальцами по клавиатуре и смутился:

— Ну, и гармошка. Много всяких в своих руках перевидал, а такую впервые. Не слушается, каналья!

Под смех толпы передал гармошку Федору обратно.

Отыскали обыкновенную двухрядку.

Вывел Кузовков Федора в круг.

— Чтобы не натолкнуться на кого по слепоте-то — дай, братцы, мне круг шире, — попросил Федор.

Широко раздался круг.

Выпрямился Федор, приосанился, а голову не забывает держать высоко, как все слепые держат. Вызов бросил серьезный:

— Ну, плясуны, выходи — да самые отборные! Хвастаться не хочу, а правду сказать должен: когда я на военной службе был — против меня во всем корпусе плясуна не находилось.

— На вое-нной? — удивленно протянул голос из толпы: — ты, слепак-то?

— Ну, да, на военной! — живо подхватил Федор: — Дарданеллы ходил отвоевывать. Ну, Дарданелл, конечно, не отвоевал, а вот глаза газом мне там выело. До гробовой доски буду помнить болярина Петра Николаевича Милюкова. Что оно такое эти Дарданеллы — до войны мы об этом ни сном, ни духом не ведали. Ну, а во время войны вдруг открыли: раньше-то видно не надо было. Ученый человек болярин Милюков и по его выходило, что никак России без Дарданелл нельзя, что непременно России Дарданеллы надо взять. Ну, мы, серая скотинка, и лезли из-за Дарданелл и перли — и доперлись: кто там на войне голову положил, кто без рук, кто без ног, кто без глаз остался. А болярин Милюков, как жил до войны барином, так и после войны живет барином заграницей. Голова у него цела, руки целы, глаза целы. Да и в монете, надо полагать, недостатка нет. А что Дарданелл мы не видим, как ушей своих, это тоже ничего: вышла маленькая ошибочка. Болярин Милюков, может, даже думает: ежели в эту войну Дарданелл не взяли, возьмем в другую. На то мы и серая скотинка, чтоб навсегда господам служить.

По толпе словно бежал электрический ток, от которого она во время речи Федора то мучительно ежилась, сжималась, то дыбилась.

И когда Федор кончил, площадь наполнилась ревом:

— Дарданеллы!

— Ошибочка? Дорого эта ошибочка-то обошлась!

— Чтобы ни дна, ни покрышки — этому болярину!

— Эх, и верно: и бараны же мы были! Дарданеллы, вишь, нам понадобились.

— Другой раз не пойдем брать! Довольно!

— Правильно! Кому нужно — тот пусть и берет.

К Федору подошел мужик и всхлипнул.

— Милай! Слепак! Хорош, должно быть, ты человек, а вот пропадаешь. И задел ты меня во-как: у меня у самого два таких слепака — брат да сын. Тоже Дарданеллы ходили брать, да какой-то крест на какую-то Софью ставить! Теперь вот тянусь — кормлю их. Куда денешь?

Вытащил из-за пазухи бутылку самогона.

— Родной, слепак, тяпнем? Пьешь, я думаю?

— Вкушаю, дядя. От такой жизни каждый день бога молю, что хоть руки-то у меня целы остались, и я могу себя гармошкой кормить, — как не вкушать?

Распил Федор с мужиком бутылку, топнул вызывающе ногой:

— Ну, выходи!

Ловко, подмывающе жарит гармошка „Барыню". Выскочил из толпы плясун и отделал колено.

Федор ответил.

Плясун — другое, третье, но на третьем сдался:

— Не могу против слепака. Слаб!

Выходили еще плясуны, но скоро исчезали.

Восторженно толпа шумела.

— Вон, негоден!

— Куда лезешь с посконным рылом в калашный ряд.

— Ну и слепак!

— Во плясун, так плясун.

А когда уж против Федора плясунов не нашлось — Федор в одиночку показал колен пять таких, от которых у толпы „дух захватило". Даже Кузовкова поверг в изумление: хоть и знал, что искусный Федор на все руки, а такого номера не ожидал.

Не забыл при этом Федор для большей убедительности и трюк выкинуть: под конец упал и, поднявшись, раз'яснил:

— Эх, братцы, когда уж я слепаком гармошкой, да ногами стал хлеб себе добывать — падал-то я сколько! Нос-то, лоб-то себе сколько разбивал? А теперь вот наловчился. Ежели разок, другой—это, конечно, не в счет.

Облепили после пляски Федора красноармейцы, мужики, как мухи мед.

Суют деньги, суют самогонку — хоть облейся.

— Будя! Довольно.

— Почему довольно?

— А потому: под начальством, ведь, всегда живем. Начальство может до корячек пить, а нам, простым людям, не полагается. Чуть выпил побольше, — пожалуй, и в каталажку попадешь.

— Пей, не бойся. Тебя, слепак, в обиду не дадим.

— Нет, уж поостерегусь. Куда нам пить, ежели в трезвом виде шагу не дают ступить. Вот идем давеча сюда на базар, а на углу фараон нас встретил: куда идете? откуда прибыли? где ночуете? И пошел, и пошел нас шпынять! А чего бы, кажись, нас шпынять-то? Сразу видать, какие мы люди и чего нам надо. Где день, где ночь — вот и сутки прочь. Кто нам кусочек хлеба подал — тот для нас и добрый человек.

Десятка два подвыпивших красноармейцев наступили на Федора.

— Какие такие фараоны? Где они? Скажи своему поводырю, чтобы он нам указал, где эти фараоны находятся, а мы им докажем, как слепаков обижать.

Федор отмахнулся рукой.

— Куда уж нам... Вам-то что? А нам — потом неприятности от начальства не оберешься.

— Каких неприятностей? Выпьем, слепак! Тут мы не у красных. Там пить запрещают, а тут можно: здесь не власть коммунистов, а народная. Сам полковник так говорит.

— Не буду, товарищи, не буду. Власть, как она ни будь, красная или белая — все едино... Всякая власть говорит, что она — народная.

— Братцы! — пронзительно, на всю площадь, высоким тенором крикнул один красноармеец: — Правильно слепак говорит про власть. Да и вообче... как он нам про Дарданеллы загнул? Послухаем, братцы, слепака. Мы вот тут уж несколько дней спорим, а толку все никакого. Одни говорят: долой коммунистов, а Советы пусть остаются. Другие говорят: и Советы долой, и без Советов, мол, поживем. Третьи орут: пусть, мол, будет власть народная — и больше никаких. А ежели таких спросить: „А как, мол, без Советов проживем? А что, мол, такое власть народная — тоже ответить не могут. Как бы, братцы не вышло такое: теперь плохо живем, теперь порядки плохи, а как бы не обернулось еще хуже. Слепак вон сразу отрубил: всякая, мол, власть называет себя народной. Наши господа то же нам говорили: „Мы, мол, ваши отцы, а вы — наши дети". Ну

этих отцов мы теперь знаем. Поучили нас войной с немцами, а потом здесь — гражданской войной. Надо, товарищи, опасаться, как бы эти „отцы“ опять к нам не пришли. Пусть нам слепак скажет: за кого он — за коммунистов или против, за Советы или против?

Гулом многоустым разразилась площадь:

— Верно! Пусть слепак говорит.

— Давай слепака!

— Держи слово, слепак!

— На воз его! Чтобы всем виднее и слышнее было.

Замахал Федор руками, закрутил головой „не желаю, мол, говорить“, а десятки рук уже подняли его на воз с картофелем, а гуд многоустый просяще и повелительно:

— Говори, слепак!

— Братцы — заявил Федор: — ежели говорить, так говорить только по правде, по совести! А вы знаете, что за правду-то бывает?

— Говори! Говори! Тебя, слепак, не выдадим! Руки отшибем всем, кто до тебя хоть пальцем дотронется.

Снял шапку Федор, повел головой так, как поводят слепые, почесал в патлах, — не просто, с весом, вразумительно и нажал на свой басок так, — вся площадь слышит каждое его слово:

— Братцы, мне уже все едино: красная или белая ли власть. Моя песенка уж спета, а кусок хлеба от народа я везде получу — при красной ли власти, при белой ли. Ну, а ежели вы хотите знать от меня, как я за весь народ думаю — я скажу. Берегите, братцы, Советы! Кто войну с немцами прекратил? — Советы. Кто землю крестьянину дал? — Советы.

— А кто продразверстку выдумал? Не советы? — завизжало, заскрипело злобно разноголосно, словно пилы по железу скрежещут, несколько десятков голосов.

— Советы выдумали — Советы могут и отменить. Где, в какой стране крестьянам или рабочим дают власть, допускают к управлению страной? Только у нас — в Советах.

— А коммунисты эти проклятые где? Не в Советах?

— В Советах! А потом — все ли коммунисты проклятые? Нет ли из них хороших, которые за народ горой стоят, голову свою положат?

— Верно. Правильно, слепак!

— Есть. Мы не говорим, что все плохие. Есть и хорошие, да мало!

— Мало? А кому ход в Советы запрещен? Никому. Вот поэтому-то мы и должны держаться за Советы. Плохи они — давайте их улучшать. Вредные люди там есть — будем вышибать вредных, а проводить полезных. Советы — вот наша настоящая власть, и, ежели они сейчас плохи, то дураки мы будем, рабочие и крестьяне, ежели не сумеем из плохих Советов сделать хорошие. Ура за Советы! Ура за кровь рабочих и крестьян, которые завоевали нам эти Советы!

Грянула площадь такое могучее „ура“ — весь уездный городок слышал.

Видел Кузовков, что на слепцов и поводыря вострят глаза несколько подозрительных чуек. Атаковали Федора красноармейцы:

— Идем, слепак, к нам в казарму.

— В казарму? — и шопотком: — а поводырек вон мой говорит, что шпички тут за нами дозирают. Как бы, вместо казарм, в каталажку не засесть...

По дороге в казармы красноармейцы с чуйками не поцеремонились:

— Чего следом прешь? Вынюхиваешь, сволочь! Убирайся, пока скулы целы.

Так — одни предупреждали, а другие „легонько, эти скулы „ладили“.

Такие маневры дали возможность Кузовкову и Крючкову очутиться у машиниста без опасения, что их пристанище замечено.

Наступила ночь и томительно тянулась долго: обещал Федор быть часам к двенадцати и не явился.

Подошло утро — Федора не было. „Попался“ — решил Кузовков.

И, стараясь быть внешне спокойным, ходил из угла в угол по маленькой комнате и обдумывал, как выручить Федора.

И один только план представлялся Кузовкову: пойти по казармам красноармейцев и попытаться, как можно скорее, поднять их на восстание против полковника.

План такой, в котором с первых шагов можно провалиться и самому.

Но ради Федора Кузовков решил не останавливаться и перед таким планом.

Был еще один план: Кузовков смотрел на прокурора и думал, что прокурор в таком деле легко мог бы принести пользу.

Но предлагать этого плана прокурору не решался. Даже больше: прокурор уже начал Кузовкова раздражать. Кузовков мог быть внешне спокойным, а прокурор не мог. Всю ночь он нервно дергал плечами, нервно потирая руки и десятки раз за ночь тревожно обращался к Кузовкову.

— Нет Федора Васильевича... Что вы на это скажете? Скверно, очень скверно. Как быть?

— Не знаю. Я думаю. Думайте и вы, — хмуро и уклончиво отвечал Кузовков.

На утро прокурор перестал нервничать и твердо заявил:

— А знаете, что я надумал? Я иду к этому полковнику, развожу ему турусы на колесах, что я прослышался про его выступления против Советской власти и бежал от красных, чтобы предложить ему свои услуги. Нечего, конечно, сомневаться, что он примет меня с распростертыми об'ятиями. Ведь я для него „свой человек". Ну, а войдя в деловой контакт с полковником, я, конечно, незамедлительно буду принимать все меры к тому, чтобы выяснить, что с Федором Васильевичем и как его освободить. Как вам эта мысль кажется?

— Мысль хорошая, — сказал сухо Кузовков: — Но, видите-ли, хотя вы для полковника „свой человек", но если он подозрителен и немного проницателен, вы можете рисковать своей головой. Свой своему за измену платит жестче. Думали ли вы об этом?

Прокурор помолчал так, точно решал — говорить ли?

— Конечно, думал! Знаете, товарищ Кузовков: я вас очень уважаю, и, если бы вы попали в опасность, я счел бы

своим неукоснительным долгом точно так же рисковать своей головой, как и за Федора Васильевича. Но любить вас так, как Федора Васильевича,—не люблю. Вы— интеллигент, я тоже интеллигент, а мы интеллигенты сухи, рассудочны, холодны. В нас нет той неотразимой искренности, непосредственности, какая есть в таких пролетариях, как Федор Васильевич. Я не был против красных, когда пришел к вам работать, как не был и за белых; я был нейтрален и думал — пусть идет борьба, а я посмотрю впоследствии, кто прав.

— Я великолепно знал все социалистические теории еще задолго до революции, но никакая теория не могла меня так полно убедить в правоте рабочего класса, как сам представитель этого класса. Такие люди, как Федор Васильевич больше всяких теорий могут убеждать, что рабочий класс, действительно, может создать братство, равенство. У меня есть жена, дети, которых я очень люблю, и когда я думаю о Федоре Васильевиче, я чувствую, что этого большого, нескладного, на первый взгляд, детину люблю точно так же, как членов своей семьи.

Оборвал прокурор, помолчал — и решительно:

— Нет, сравнение со своей семьей — узко. Его я больше люблю. Он для меня член семьи будущей: мировой. Я не сомневаюсь ни на одну минуту, что, если бы я очутился в опасном положении, Федор Васильевич, не задумываясь, рискнул бы за меня головой. И я, конечно, тоже рискну. Я иду! Ждите меня. При первой маленькой возможности я явлюсь к вам для дачи сведений. Ах, Федор Василич... ах, Федор Василич...

При последних словах голос прокурора дрожал.

Кузовков спросил себя: „вот, он тоже любит Федора, любит почти до добровольного подчинения, — а за что?" И, крепко пожав прокурору руку, тепло сказал:

— Да, прокурор. Мы — учителя, прокуроры, инженеры, адвокаты и т. д. мы не класс... А Быльниковы— класс, который своим героизмом, своей простотой и искренностью перестроит жизнь на началах правды, справедливости. Этот класс еще ребенок, но мы уже

его любим, мы им восхищаемся. Ибо этот ребенок более мудр, чем мы, потому что он коллективист, а мы— индивидуалисты. А когда этот ребенок станет взрослым — тогда, как говорит писание, осуществится „царствие божие на земле“ и имя этого осуществителя будет — Пролетариат. В нем задатки, в нем ростки, в нем мечты всего человечества—и потому-то мы его так любим.

XVII

А с Федором случилось вот что.

Очутившись в казармах, он скоро понял, что красноармейцы далеко не на стороне полковника.

Части у полковника были молодые — все из крестьян, всем им не нравилась продразверстка; полковник со своими людьми повел агитацию, что продразверстка исходит от коммунистов, и выбросил лозунг: „За Советы, но без коммунистов“.

И красноармейцы за лозунгом пошли, не вникнув хорошенько, что одно от другого неотделимо.

Но скоро у них стали прозревать глаза.

Во-первых, у них с первых же дней арестовали половину командного состава, а на место этого состава явились какие-то неизвестные люди, не носящие, конечно, золотых погон, но, всеми своими приемами и замашками, напоминающие старых золотопогонных офицеров; во-вторых, об'явили, что они должны выступить в поход, но куда, с какой целью — этого не сказали.

Красноармейцы стали настойчиво допытываться и, наконец, им об'яснили: на Царицын, где образовалась настоящая народная власть.

Но, они уже этому плохо верили: знали, что к Царицыну подходит белый генерал Деникин.

И сомневались, что там, где будет белый генерал— там может быть народная власть.

Налицо был такой грубый обман, рассеять который не представлялось большого труда.

И Федор пошел напрямик. Об'явил себя зрячим, раскрыл, кто он, с какой целью явился в „пределы“

полковника, и просто сдернул пелену с глаз красноармейцев.

— Товарищи, вы за Советы?

— За Советы. Только за Советы, — единодушно ответила вся казарма.

— А ежели за Советы, то как же вы против коммунистов? Ведь Советы-то ввели не полковники, не Милюковы, а коммунисты. Вот как надул вас полковник!

Красноармейцы были поражены и молчали.

— Но этого мало, товарищи. Куда вас хотел полковник вести? К Царицыну? А в Царицыне вы попали бы к генералу Деникину, и там бы вас заставили проливать свою и своих трудящихся братьев кровь уже не за Советы, как было и есть у коммунистов, а против Советов. Поняли, товарищи, как действуют господа полковники?

Рев и вопль.

— Смерть ему, смерть!

— Веди нас, товарищ, против полковника!

Ухмылялся счастливо, по-детски, Федор.

— За тем, товарищи, к вам и явился. А пока проведите меня по другим казармам, чтобы подготовить и остальных товарищей. Будьте послезавтра с утра, в полном боевом порядке, на Соборной площади!

— Будем!.. Будем!..

— Ну, и товарищ. Ну, и слепак! Выпьем, слепак, за то, чтобы стереть все змеиные гнезда.

Ухмылялся счастливо, по-детски, Федор.

— Выпьем. За что другое нельзя, а за это—можно!

Обступили Федора пять красноармейцев с бутылками в руках.

— Слепак! Мы — выборные. Идем с тобой по казармам. А пока что, вот он — чистенький, 95 градусов. Тяпнем и тронемся!

Выпил Федор банку, другую—голый, крепкий спирт.

Тянут третью — подумал и тряхнул головой:

— Давай! Выдержим и эту.

Выпил, вытер губы рукавом.

— А теперь, товарищ, будя! Идем.

Хотел еще раз наказать, чтобы не забыли, что должно быть через день, но взглянул на казарму, послушал

рев и вопль — ураган бунтующих человеческих душ — и махнул рукой: без наказа твердо.

Пошел с веселенькими с теми пятерыми, с которыми выпивал.

На улицах уездного города темно и глухо, как в склепе; кажется, сколько ни кричи, все равно ни одной души не дождешься.

Прошли уличку, другую. Один веселенький застонал и упал.

— Останавливаться нельзя, — шепнул остальным Федор: — пьян — проспится. А если будем с ним возиться — нас могут накрыть...

— Правильно! — согласились красноармейцы.

На третьей уличке свалились еще двое. А на четвертой и остальные. Падал последний, самый здоровый молодой парень и коснеющим языком лепетал:

— Склады разбили. Говорили: отравленный спирт... Не поверили. А теперь — вот... Чую, товарищи... умираю.

Отошел Федор шагов двадцать и тоже почувствовал внутри боль и муть.

— К своим, к своим!..— мелькнуло у него в голове. — Осмотрелся. Но шатает на ногах, застилает в глазах — не дойти и не найти ему домика машиниста.

— Но, ведь, это провал... Только бы до Петруши, а Петруша доведет дело до конца. Может, кто встретится и поможет добраться до Петруши — вновь мелькнуло в голове.

И еще две улички прошагал могучий Федор, но никого не встретил.

Покачнулся раз, другой, третий — выпрямился и шагнул несколько шагов твердо, точно поборол отраву, а потом заскрежетал зубами и рухнулся тяжело, как веское дерево.

Две-три корчи, две-три судороги и вытянулся во весь орясинный рост Федор.

ГЛАВА XVIII

А через час на фурах ездил по улицам города со смоляными факелами санитарный отряд.

Попал на фуру и Федор.

Вернулись фуры в полковой госпиталь. На дворе госпиталя фуры разгрузили. Пьяный фельдшер, едва стоявший на ногах и вряд-ли способный в это время отличить пульс не только других, но собственный, брал на секунду, на две, у каждого тела руку и с глубокомысленным видом решительно изрекал:

— На койку. Может, еще отойдет.

— Капут. В погреб.

„Коечных“ уносили в госпиталь, „погребных“ санитары раздели до нага, навалили на фуру, подвезли к погребу, отстоящему от госпиталя сажен на сто — на пустыре — открыли тяжелые, железные двери, обтянутые снаружи и изнутри толстым войлоком и по крутым покатым доскам побросали тела, как поленья, в погреб.

В число „погребных“ попал и Федор.

И когда он пришел в себя, когда почувствовал страшный холод и страшную сырость, когда глаза его, сколько он ни напрягал зрение, встречали полный мрак; когда каждым движением руки или ноги он ощущал только лед и холодные, неподвижные человеческие тела, — он, Федор, не поверивший бы никогда, что он подвержен страху, он почувствовал, как его рыжие волосы, разделанные под патлы деревенских мужичков, встали дыбом.

Главный ужас Федора заключался в том: он силился понять — где он? как и почему сюда попал? — и не мог.

Смутно, обрывками, он помнил начало вчерашнего дня: площадь, толпа, его выступление, а дальше — дальше в памяти был полный провал.

Внутри горело, жгло, его тошнило и по этой тошноте — густой, липкой, горячей — Федор определял, что его тошнит с кровью. Но от чего жжет внутри, от чего тошнит с кровью — этого не понимал.

Слабо мелькало предположение: может, его захватили белогвардейцы, расстреляли и, полагая, что он уже труп, скрыли его с другими расстрелянными в этой холодной, ледяной яме?

Но тогда — почему он ничего не помнит, как был захвачен, как расстрелян?

Наконец, — прежде думал, что жжение внутри, тошнота с кровью — от ран, полученных при расстреле, но когда ощупал всего себя и не нашел ни одной раны, впал в еще большее недоумение.

Пошарил по погребу.

Холодные, неподвижные тела, иные — уже с сильным запахом разложения.

Холодный, темный погреб — царство смерти, где только он один живой!

Надо было решить вопрос: как он сюда попал? Почему попал? Когда попал?

И умная голова Федора понимала, что эти вопросы надо решить прежде всего. Ибо, не решив этих вопросов, нельзя думать, как и в чем искать спасения из этого погреба.

Холод леденил кровь Федора, полный мрак страшной парализующей глыбой давил сознание, но Федор все-таки не сдавался.

Он напрягал мозг, чтобы восстановить в памяти выпавший кусок его жизни.

Ибо чувствовал, что если не восстановит, то сойдет с ума. Стоило ему только подумать, что с ним случилась необ'яснимая вещь, что бесполезно искать разгадок к тому, как он попал сюда и зачем — сейчас же ощущал, как вновь дыбятся волосы на его голове, как теряется представление о времени, прошла минута и нельзя определить на обычную, человеческую мерку, какова была длительность минуты.

Называется минута, а сколько она тянулась — час, день, неделю, месяц, год или годы?

Грядет новая, так называемая „минута“ — сколько будет длиться она? Кажется, конца ей не будет. Скорее кончится человеческая жизнь, а минута все будет длиться.

И, чтобы освободиться от ужаса этой минуты, Федор сказал себе: если я буду считать до 50 — это пройдет минута.

И он считал.

Затем: если не будет делать движений, он застынет. И решив, что на то, чтобы согреться, должно уйти минут пять, вставал и приводил руки и ноги в движение; когда согревался, делал вывод:

— Прошло пять минут. Вот это значит действовать.

Сотый раз он вглядывался в окружающую его тьму и ничего не видел, но внушал себе, что на то у него глаза, чтобы видеть. И, если он ничего не видит сейчас — это еще не значит, что он ничего не увидит через час, через два.

И он бесконечно шарил глазами по тьме погреба.

Потом ему пришла мысль обследовать весь погреб, и он, взяв за исходную точку один угол стены, тронулся по стене в обход.

Он наступал на трупы, от которых уже шла густая вонь разложения, но его уже это не смущало, и он вслух говорил:

— Сгнил, братец. А я вот не хочу гнить!

Обошел погреб. Глубокий, большой, обложенный по стенам цинком.

После обхода по стенам стал колесить погреб по всем направлениям.

И вдруг натолкнулся на доски.

Попробовал взобраться по ним, — но не позволила крутая покатость досок, покрытых ровным, тонким слоем льда, словно это сделано специально для того, чтобы тела лучше с'езжали. С'ехал и Федор.

Еще несколько раз попытался — то же самое.

Кого-нибудь это могло обескуражить, но только не Федора...

Попробовал доски — пять толстых широких половых досок, укрепленных прочно.

Отыскал Федор льдину пуда в три и принялся за работу. Разбилась на мелкие куски льдина, но зато тонкий слой льда отскочил, обнаружив сухую, шершавую плоскость досок.

Вновь полез Федор и на этот раз легко добрался: каменный выступ в пол-аршина, на котором удобно встать.

Укрепился на этом выступе, пощупал перед собой — войлок.

И радостно заржал:

— Ого! Значит, не замерзнем!

Толково, основательно, чтобы не рвать куски, нашел место, откуда следует начинать, подколупнул пальцами и стал сдирать осторожно, исследуя каждую четверть аршина.

Минут через десять у Федора в руках целая войлочная кошма. Перед Федором теперь уж не войлок, а дерево. Стучит в это дерево и по звуку соображает: за деревом — железо.

Найдена, значит, и дверь в погреб. На другой половине этой двери тоже войлок.

Не лишнее содрать и его.

А когда содрал, увидел у дверей чуть-чуть неплотный притвор, и в этот притвор врывается маленькая серенькая полоска света.

И эта полоска света показалась Федору прекраснее солнца. И осветила ему вдруг все: казармы, выпитый там отравленный спирт, улички, на которых свалилось пять красноармейцев и свалился он.

Все припомнил и все понял: его, как и других отравленных, подобрали, сочли за труп и водворили в этот погреб.

Знал Федор и географическое положение этого погреба. Кричать из этого погреба, рассчитывая на то, что какой-нибудь прохожий услышит и доведет до сведения начальства госпиталя, что в погребе гибнет живой человек — едва ли стоит: на таком пустыре погреб, мимо которого людям незачем ходить.

Не любят ходить обыватели уездного городка мимо этого мертвого места.

А если бы кто и прошел и услышал — как бы это положение не кончилось еще сквернее: а вдруг Федора уже ищут и не выйдет ли, что на место ожидаемого спасения придет верная гибель.

И Федор выработал себе иной план.

Он решил, что массовое отравление не ограничится теми жертвами, которые уже попали в этот погреб, что нужно ожидать новых жертв.

И когда придут, откроют дверь — тогда виднее будет, как лучше действовать.

Благо и ждать можно.

Сел на каменном выступе, закутался в войлок.

От войлока стало тепло — клонило ко сну.

Спать Федор был не намерен.

Он высчитал, что если сегодня ему удастся освободиться, то его „игра“ с полковником завтра может состояться.

Потом для Федора нашлось новое дело.

Раздался стон, другой, потом легкая возня и, наконец, животный крик ужаса и отчаянного недоумения:

У-у-у-ух!.. У-у-у-ух!

Еще легкая возня—и глухое, покорное, почти безумное:

— Господи, господи, пошто послал такую кончину?

Загоготал Федор:

— Ха-ха-ха! Что, товарищ, испугался? Не бойся. Не один ты здесь кончаешься. Где ты там? Я тебя на ноги поставлю.

Не поверил человек, что в самом деле помощь пришла, молчит.

Спустился Федор с досок.

— Ну, подавай голос. Не понимаешь, что ли, что в этой дьявольской тьме без этого тебя не отыскать!..

Опять человек молчит.

— Ну чорт с тобой! Трус! Дохни тогда, если тебе это нравится.

Отозвался тихо, со страхом.

— Здесь я!

— Громче говори. Подавай все время голос!

Стал подавать человек голос, нашел его Федор, ощупал — молодой, в плечах широк, с сильной мускулатурой, а двигаться уже почти не может, застыл.

— Кто, — красноармеец, что ли?

— Да, товарищ. Сам бог, наверно, тебя мне послал!— по тону слышно, — не верит красноармеец, что на помощь пришел ему живой человек.

Думает про себя, что и это обман, новая чертовщина.

— Ну-ка, поработаю над тобой! — и громадные, жесткие, шершавые лапы Федора принялись растирать красноармейца так, что тот застонал: — Больно, товарищ!

— Ничего, терпи. Мне хуже пришлось. Сам себя спасал. Сделаю вот тебе хороший массаж и встанешь.

Тер Федор красноармейца, поворачивал с боку на бок, со спины на живот, отпускал по молодому, здоровому телу смачные шлепки и добился: встал красноармеец, поразмялся и заявил:

— Теперь хорошо! А то совсем окоченел.

Подвел Федор красноармейца к доскам.

— Лезь за мной!

Взобрались на выступы. Сели, прижались друг к другу, укутались войлоком, — заплакал красноармеец от радости.

— Радехонек? Ревешь? А попал сюда как?

— Не знаю. Ничего не знаю, не помню.

— А спирт вчера жрал?

Тут красноармеец все припомнил.

Сидели и ждали. Шли часы, но в тепле, за разговорами, и часы уже не были так страшны и мучительны, как первые минуты в этом погребе.

Полоска света в двери все меньше, уже потом исчезла совсем: кончился там за дверью погреба день — наступила ночь.

Красноармеец уже немного унывал:

— А вдруг сегодня не придут?

— Придут! А если не придут, завтра придут. Лишний день здесь просидим — не беда. Главное — не замерзнем.

Подготовлял Федор красноармейца и к дальнейшему.

— Смотри, когда услышишь голоса, не подай своего голоса: санитары могут испугаться и не открыть двери.

А наивный красноармеец как раз думал наоборот.

— А я так смекал: чуть увидят нас, что мы из мертвых стали живыми — испугаются и закроют двери. Значит, мол, надо голос подать: товарищи, спасите из этой ямы скорее.

— Вот и дурак! Лучше мы их испугаем раньше, чем они нас испугаются.

Сидели и уже почти не говорили.

Ждали.

Приехали: скрипнула телега. Слышались два ленивых сонных голоса.

— Ключ-то не забыл?

— Нет.

— То-то. А намеднись... Помнишь?

— В дым тогда был...

— А сколько сегодня привезли?

— Не знаю, — не считал. Десятка полтора, наверно, есть.

Вяло повернулся ключ в замке, вяло звякнул замок, вяло, нехотя открылась дверь.

Но зато быстрым энергичным прыжком выскочил из погреба Федор. И не сообразили, вероятно, еще санитары, в чем дело, как Федор дал им по такому тумаку по затылкам, что повалились на землю без памяти.

— Мерзавцы. Не возите живых за мертвых!

А красноармейцу сказал:

— Нам не по дороге. Ты мчись в госпиталь, а я домой.

ГЛАВА XIX

Было уже девять часов вечера, и не успел еще красноармеец ничего ответить, как длинные ноги Федора скрыли его от красноармейца в темноте. Видна была только секунды две-три огромная, мчащаяся тень — затем и она исчезла.

А в то время, когда Федор вырвался из погреба и, где бегом, а где потихоньку, осторожно, задами, околицами пробирался к дому машиниста, в доме машиниста, в маленькой комнатке сидели Кузовков и Крючков.

Оба уже были одеты по-иному. Кузовков преобразился под прасола. Крючкова полковник снабдил формой офицера — только погон на плечах нет, а в кармане, — прокурор вынул их, — новенькие, блестящие, повертел в руках:

— Ужасно глупо. Я говорил полковнику, что мне, как судейскому, они ни к чему, но куда там... Полковник уверял, что будет такой торжественный день, когда все, кто служил белому делу, должны одеть эту „великую эмблему“. У большевиков, мол, эмблема — серп и молот, а у нас — золотые погоны. „Этой великой эмблемой и победим“. Окружил себя исправниками,

становыми, околоточными, интендантами, земскими начальниками—пьяницами, ворами, взяточниками—и думает победить. Противно, глупо.

Крючков вошел в „свои люди“ к полковнику, как и полагал, быстро... Со своей острой проницательностью он за один день познакомился с положением полковника гораздо больше, чем знал сам полковник. Передал все свои сведения и выводы Кузовкову — и хоть все это для них было очень благоприятно — они тяжело вздохнули.

Предстояло выяснить самое большое: о Федоре.

Среди многих догадок у того и другого была одна наиболее верная догадка, что ни тот, ни другой, не хотел сразу высказывать.

Первым начал Кузовков:

— Да, прокурор, все это, что вы передали, хорошо... Только вот... Федор... Чорт знает что. Я думаю, что он к полковнику „ввалился“. Больше куда же ему деться?

Прокурор дал самые решительные заверения, что в лапах полковника Федора пока нет.

— Возможно, что нет. Но можете ли вы мне сказать, что он не был?

Прокурор понял. Но как будто ни за что не хотел допустить такой мысли. И как всегда, когда сильно нервничал, он поминутно снимал и одевал очки.

— То-есть, что вы хотите этим сказать? Я вас не совсем понимаю.

— Великолепно, прокурор, понимаете.

— Ну, да, я понимаю, вы хотите сказать, что Федор Василич у полковника был, а потом... исчез... в расход! Но это совершенно несообразная, совершенно недопустимая вещь...

Кузовков даже усмехнулся.

— Но почему несообразная? Чудак вы, прокурор. Наоборот, совершенно сообразная: раз попался сильный и опасный классовый враг — его лучше всего скорее уничтожить. Так поступают белые, так поступаем и мы.

— Ну, да, конечно. Но видите, я не — простофиля. Раз я пошел к полковнику с целью выручить Федора

Василича, то, естественно, что никаких иных функций и у полковника не взял бы, кроме тех, которые мне нужны. Больше мне, как прокурору, там и не нужно было даже добиваться, чтобы все арестованные как уголовные, так и политические, состояли под моим ведением.

— А вы не можете допустить, что с такими, как Федор, там расправляются помимо вас?

— Не могу! — решительно ответил прокурор: — Не думайте, что у меня этой мысли не было. Она была прежде всего. Я у полковника с этой целью ощупал всех и вынес полное впечатление, что такого органа у полковника еще нет.

Помолчал прокурор, а потом даже схватился за голову.

— Если я ошибся — такой ошибки я не прощу себе во всю жизнь!

Передал Кузовков прокурору свои сведения.

— Я тоже не бездействовал сегодня. Прежде я послал машиниста по казармам, чтобы он мне разузнал о Федоре, но он никакого толку не добился. Пошел я сам. И узнал, что из одной казармы Федор пошел в другую, но ни в какой другой его не было. След затерялся где-то в этом маленьком городке. Утешительного, как видите, прокурор, мало.

Прокурор вздохнул.

И только под конец, когда прокурор заявил, что пристроил его полковник на жительство к одному судейскому, что в судейском он уверен, — пора ему итти домой, чтобы не навлечь подозрения — они обмолвились о том, о чем надо было обмолвиться с самого начала.

— А вы знаете, товарищ Кузовков, что в городе масса смертей от спирта, отравленного формалином.

— Да, слышал. Не думаете ли вы, что и Федор в числе этих смертников? — и Кузовков насильственно усмехнулся.

— У меня, в связи с этим, образовалась одна неглупая комбинация. Так как двумя слепцами и их поводырем разведка полковника очень заинтересована и рыщет, чтобы открыть их пристанище, день и ночь, дабы

предохранить слепцов и поводыря от неприятностей, я предложил полковнику: — мы ищем этих красных и не находим. А не может ли быть такой вещи: не поискать ли?

— Не поискать ли нам этих красных в связи с отравлением в больницах и в тех местах, куда отправляют трупы. — Что вы говорите, прокурор? Эти слепцы явились сюда, чтобы сделать переворот; не дураки же они, чтобы напиваться в это время, когда у них такая большая цель с красноармейцами. „Зачем, мол, напиваться? Но выпить, агитируя красноармейцев, они могли". Тогда полковник согласился со мной, что это действительно идея, и дал мне полномочия осмотреть завтра же городскую больницу, военный госпиталь и прочие места. Завтра же вечером я сообщу вам результат.

Кузовков молча, благодарно посмотрел на прокурора, молча пожал ему руку.

Прокурор тронулся было к выходу, но в это время, в кухне, выходящей окнами на огород, раздался по стеклу осторожный стук.

Прокурор остановился.

Машинист пошел на кухню и минуты через две вернулся к Кузовкову и прокурору.

— Что-то чудное. Пригляделся в окно и не решился впустить. Федор голый.

— Как голый? — враз спросил Кузовков и прокурор.

— Ну, как голые бывают?

Пошли в кухню все втроем. Рассматривали в маленькое оконце поочереди, пока Федор не вышел из терпения и басовитым шопотом через окно не бросил.

— Вот черти! Пялите зенки, а я замерзаю!

Впустили.

Облапил Федор всех поочереди, расцеловал и пробежал в комнатку. Схватил одеяло с постели, закутался в него, уселся на стул и хохочет так, — стены вздрагивают.

— Вот это номер! Ха-ха-ха! Это, я вам скажу, номер! Ха-ха-ха!

Сурово говорит Кузовков, а у самого глаза прыгают от радости.

— Тут из-за тебя, чорт знает сколько беспокойства перенесли, а ты гогочешь, как леший. Будь серьезнее и говори, — почему в таком виде и откуда?

Прокурор и в радости очков в покое не оставляет: то снимает, то одевает их, и похоже, что и в очках и без очков он не видит, действительно, перед собой Федора.

А Федор все хохочет:

— Это номер. Ха-ха-ха!

— Да расскажи толком — в чем дело?

— Толком? — Федор вытянул ноги, откинулся на спинку стула и стал подробно рассказывать.

Слушали Кузовков и прокурор, не раз зябко вздрагивали от того, что пришлось пережить Федору, а когда Федор кончил, то засуетились.

— Голубчик, Федор Васильевич, так вы, значит, целые сутки ничего не кушали! Сейчас мы это соорудим!

— Федя — в постель! От тебя, как от печки пышет. Поищем чего-нибудь такого, от чего ты раз семь пропотеешь. Это тебе необходимо.

Федор рассердился:

— Какая тут постель? К чорту! Жрать тоже не хочу. Вот воды надо.

Машинист подал ему кружку.

Мягко, деликатно, но настойчиво, прокурор отстранил кружку,

— Самоварчик нельзя ли? Или хотя бы кипяченой. От сырой — инфекционные болезни могут быть.

— Болезни? — покосился в сторону прокурора Федор, а машинисту повелительно: — Ведро давай!

Выпил залпом несколько кружек и опять Федор к машинисту — весело и энергично:

— Завтра у меня большое дело — сейчас мне нужно по этому делу итти в казармы к красноармейцам. Живей доставай мне какую-нибудь дрянь. Какую-нибудь шушеру — все равно, лишь бы одеться.

Кузовков и прокурор переглянулись:

— Федор Василич, считаю нужным поставить вас в известность: во-первых, — казармы теперь сугубо строго охраняются от проникновения посторонних эле-

ментов; во-вторых — у полковника есть три роты, сбиты из царских фронтовиков, которые смогут постоять против десяти рот молодых красноармейцев. Эти роты у полковника вечно пьяны, вечно в поблажках... Как крестьяне с старой закваской — о коммунистах и продразверстке без ярости слышать не могут. Мое мнение, в одну ночь вы ничего не можете сделать, надо хорошенько подготовить в противовес этим работам всех остальных красноармейцев. Иначе — нас постигнет провал!

Федор насмешливо обернулся к Кузовкову.

— А ты, Петруша, что скажешь?

Кузовков понял, что Федора не отговоришь, а потом не мог Кузовков в душе не преклониться перед Федором и кратко заявил:

— Я тоже советовал бы обождать. Но если ты так упрям и будешь настаивать на своем — идем в казармы вместе. Может ведь случиться, что через два-три часа ты свалишься.

Федор встал, свистнул, размахнулся голой, с могучими выкатывающимися мускулами, рукой:

— Крючков... В казармы, я, конечно, проберусь, несмотря ни на какую охрану. Тремя ротами пьяных, старых царских фронтовиков меня тоже не запугаешь. А ты, Петруша, плохо, значит, знаешь меня, если думаешь, что я через два часа свалюсь. Со мной ты в казармы тоже не пойдешь. Не суйся в мою черную работу. Для тебя у меня завтра будет роль попочетнее. Что? Разве революция этого не стоит!

Громадный, рыжий Федор, пылающий в горячечном огне был в своей нечеловеческой силе и воле грозен и прекрасен.

Они посмотрели на него и ничего не сказали.

Через полчаса Федор, одетый в нелепую допотопную чуйку, в нелепые валеные сапоги и в деревенскую шляпу-гречишником, бросил Кузовкову и прокурору: „Завтра, в 9 утра на Соборной площади", — и твердым шагом вышел.

А сзади Федора следовал прокурор. Смотрел на большой маячащий силуэт Федора и, точно учился, старался итти твердым шагом, похожим на шаг Федора.

Так проводил Федора до казармы. Дал перелезть Федору через забор, потом подошел к забору и долго с полчаса прислушивался.

У прокурора в кармане могущественная бумажка, подписанная самим полковником, и в нужном случае прокурор пред'явит требование, чтобы преступник, пытавшийся в ночное время незаконными путями проникнуть в казармы, был немедленно передан ему.

Но тихо. Никакой тревоги нет.

И прокурор не спеша идет домой.

ГЛАВА XX

На другой день, с 8 час. утра Кузовков был уже на Соборной площади. В боковом внутреннем кармане прасольской поддевки грузнел браунинг, взятый у машиниста.

Сонно, мертво на площади. Кругом жижица из грязи и снега.

Над деревянным стареньким собором кружится громадная стая ворон, неспокойных по-весеннему.

Поближе к каменной ограде собора, дико несуразной по отношению к маленькому собору своей толщиной и высотой важно, изредка запуская нос в землю, прохаживаются грачи.

У нескольких жалких, открытых недавно, лавчонок толкутся с унылым видом осенних мух их владельцы и посматривают — не идет ли покупатель?

Но редок покупатель в уездном городе, и, зевая и крестя рот, а потому разевая рот, глазеют тупо лавочники на ворон и грачей.

Изредка покажется уездная баба в кацавейке, с азиатским рисунком на дешевой ситцевой юбке: изредка пройдет уездный мещанин в чуйке или поддевке, в неизменном суконном картузе, — самое смешное, нелепое в мире существо: ни крестьянин, ни чернорабочий, ни торговец, но вместе и то, и другое, и третье.

Серая убогость. Неподвижность. Сон. Лень. И убогое, тупое, трусливое любопытство.

Стоял в укромном уголке, под навесом ворот, Кузовков, смотрел на жизнь уездного городка и с ненавистью думал: „Проклятое болото! Жизнь, стремленья, порывы — мелки, а карманы... глубоки!“

Но вот улички, выходящие на Соборную площадь, вдруг стали оживать. Заюркали суетливо, с таинственным шопотом, испуганными жестами, картузы и кацавейки. Из всех окон, с жалкой, чахлой геранью и пыльным „целебным“ столетником пучились белые пятна бабьих лиц рядом с уездными мордами, у которых шерсть не растет только из глаз.

По площади к собору пробежал согбенный и летами, а еще больше страхом, с жидкими, растрепанными косицами поп, и минуты через три соборная колокольня ударила в набат.

Лавочки закрылись. Лязгали и хлопали ставни у окон.

Все картузы и кацавейки спрятались в дома.

Пусто. Нигде не видно ни одного человека.

Уездный городок в смертельном испуге забился, запрятался в свое логовище, как воробьи под стрехи.

А набат бьет и бьет — бьет в мертвом городке.

И почти одновременно из противоположных улиц показались, с одной стороны, роты две под смешным предводительством фантастического „полководца“ в чуйке, в валеных сапогах, в шляпе-гречишником, притом — этот фантастический „полководец“ — с пустыми руками; с другой стороны — роты три с пулеметами, под командой монументального человека, похожего на старых, исчезнувших монстрообразных полицейских приставов, вооруженного, как говорят, до зубов.

Набат замолк.

— Ать... два... Ать... два! — самоуверенно зычным голосом рубил полицейский пристав и поводил рукой по густой черной, выхоленной, разделенной надвое — по-николаевски бороде.

Смотрел на приближающегося противника без пулеметов, с одними винтовками, но строй такой, когда с одного взгляда видно, что люди серьезно понимают, куда идут, за что идут.

Опять самоуверенно рубил „ать... два, ать... два!“ — поворачивался, молодцевато пружиня упругими, крепкими ногами, отступал и разглядывал свою часть.

Идут нестройно, кривыми рядами, с заломленными на затылок шапками, — сам чорт не брат! Уже пьяны, с красными, звериными, бессмысленными лицами, но все еще летят в воздухе вышибленные пробки, видны заломленные головы, выпяченные кадыки, глотающие на ходу булькающую в бутылках влагу.

У одних через плечо новые кожаные сапоги, у других под мышками — новые валенки, у третьих — связки баранок, у четвертых — болтается по бокам, прикрепленная к поясу, колбаса.

Поглядит на свою часть полицейский пристав и отвернется. И чуть заметно поморщится, а рубит все так же самоуверенно: „ать, два! ать, два!“

Спохватился: уже близко фантастический человек со своей частью, — не будет сажен и сорока.

Рявкнул:

— Рота, ссс-той!

Приложил к губам руку рупором:

— Предлагаю остановиться!

Федор остановился. Остановилась его часть.

Кузовков подошел к Федору и встал рядом.

— Об'являю от имени начальника уезда, а в скором времени и начальника губернии, потому что он идет на правое дело — за народную власть — полковника Макеева следующее: кто сложит оружие до кровопролития, тот будет от всякого наказания освобожден.

К полицейскому приставу подошли несколько чуек, поддевок, суконных картузов. Униженно кланялись, указывали на сапоги, баранки, колбасу, и как иные собаки, трусливо и злобно скулили.

— Ваше благородие. Разор... Раз-зор. Не по-божески... Прикажите вернуть.

— Нашли время! Отстаньте к чорту!

— Ваше благородие! Только глаза открыли... только вздохнули... а ежели так — уже лучше ложись и умирай!

Полицейский пристав обернулся на свою часть: увидел оскаленные зубы, злобные лица, кривые усмешки.

И обернулся к купцам. Секунду поколебался:

— Вы уйдете? Нет?

Развернулся наотмашь и хряснул одну чуйку, другую, остальные посыпались в сторону, как брошенный горох.

— Правильно! Аршинники! Кровопийцы народные!

— Так их. Наши слезы грабят — ничего не плачут; а ежели их разок встряхнули — взвыли!

У соборной ограды, у улиц, выходящих на площадь, наплыли большие кучи краноармейцев — вооруженных и без оружия, зевак и гадающих, куда им примкнуть?

Вновь полицейский пристав продиктовал:

— Об'являю во второй и последний раз: кто не хочет крови — пусть слагает оружие.

Роты полицейского пристава загалдели, замахали кулаками:

— Сенька, так вот где ты? За красных! Погоди же...

— Васюк, ты ли? За коммунистов. Предатель! Изменник!

— Чего там лясы разводишь? Готовь пулеметы.

— Верно! Угостим... Поучим...

Ни звука в ответ из рот Федора...

Не шелохнулся. Замерли. Застыли. Только глазами косят, словно, кто им командует.

— Рав-няйся!

— Товарищи, ни с места! — сказал Федор своим ротам и бросился на площадь:

— Слово мне!

И тронулся прямо на полицейского пристава.

Изумлен фантастический полководец: длинная, нелепая, болтающаяся полами в ногах чуйка, нелепые, уродливые, разбухшие от сырости валенки, пылающее горячечным огнем лицо, остро-болезненно-блестяще воспаленные до красноты глаза, а тверд и четок шаг фантастического полководца.

И рядом с ним в ногу идет Кузовков и тоже косит глазами на Федора, словно и предгубисполкомом командует кто: „рав-няйсь!"

Близко уже полицейский пристав — еще сажен 20.

И ревет он:

— Довольно! Стой! Ни шагу! Стрелять буду! Огонь открою!

Остановился Федор. Поднял высоко руку.

— Слово мне!

Нелепа чуйка, нелепы валенки, нелеп гречишник, но не смешон Федор: громаден с высоко поднятой рукой Федор, величественен Федор.

И вся площадь затаила дыхание.

Ни звука, ни движения.

— Товарищи! Да, крови не надо! Да, крови мы не хотим! Где начальник уезда, которому никогда не бывать начальником губернии, полковник Макеев?

— Его здесь нет. А мы здесь! Я — начальник уезда, председатель губисполкома; товарищ, стоящий рядом со мной, начальник губернии, председатель губисполкома. По старому это — генерал-губернатор. Я — рабочий, он — бывший народный учитель. И потому что мы крови не хотим, потому что нам власть народная — власть Советов — дорога, как всем рабочим и крестьянам она должна быть дорога, мы пришли сюда, к полковнику Макееву, у которого и пушки и пулеметы, и даже — без оружия. Видите наши пустые руки? Товарищи, вас обманули! И если нужна кому-то кровь, то пусть прольется только одна моя кровь, но лишь бы не лилась кровь ваша — кровь обманутых братьев. Стреляйте!..

Горячечным движением Федор распахнул чуйку, рванул рубашку, обнажив белую, такую могучую колесом — грудь.

— Федор Быльников... председатель уисполкома... — словно кто вздохнул в одной кучке красноармейцев.

И понесся этот вздох, как эхо, от одной кучки к другой:

— Федор Быльников... председатель уисполкома...

И вдруг вспыхнул в единый, могучий гул:

— Да здравствует Федор Быльников! Да здравствует председатель уисполкома!.. Да здравствует Советская власть!

Полицейский пристав забегал по площади глазами словно выискивая, куда укрыться. И вдруг поднял

наган и выстрелил в широкое белое пятно между черной чуйкой.

У Федора опустились руки, потом высоко взметнулись, он пошатнулся, выпрямился, еще пошатнулся и опять выпрямился, в третий раз пошатнулся—выпрямился: не упадет. Погрозил кулаком и крикнул:

— Я не умру, а ты уже издох.

И рухнул, как веское дерево — все точно так же, как там ночью, на уличке.

Площадь расколол резкий, сухой крик сотни голосов,— точно воздух треснул.

— В безоружного?!

Тронулись роты Федора мерным железным шагом, со штыками наперевес.

И этот мерный шаг был страшнее, чем если бы они кинулись, как ураган.

— Огонь! — бешено скомандовал своим ротам полицейский пристав и уставил наган на Кузовкова: — Огонь ружейный и пулеметный!

— Мимо, негодяй! — с силой крикнул Кузовков, доставая из поддевки браунинг.

Пуля, действительно, свистнула мимо.

Твердой, стальной рукой, не знающей промаха, не целясь, а лишь, подняв браунинг до того уровня, какой ему был нужен, Кузовков нажал гашетку.

И, кажется, в один и тот же момент, когда на лбу полицейского пристава заалела вишня, из-за затылка его от удара прикладом брызнул серовато-белый студень.

Не торопясь, с опущенным браунингом, не спуская серых, стальных, горевших нестерпимым блеском глаз, с рот полицейского пристава, Кузовков подошел к ним вплотную.

— Солдаты революции — не мародеры. Сбрасывай награбленное, командный состав, ко мне.

Сапоги, колбаса, баранки — полетели в одну кучу. Перед Кузовковым встали трое: один пожилой, двое — розовые фендрики.

— Товарищи, способные взять команду, выделяйся.

Выделились.

— Возьмите команду по-ротно, по-взводно.

Взяли.

— Стройся!

— Равняйся!

— По казармам! Виновных среди обманутых нет! Кругом! Шагом... арш!

И пошли не как сброд, а как солдаты: хоть пьяненькие, но старые фронтовики — шаг печатают, штык в штык.

Обернулся Куковков — роты Федора перед ним в 20 шагах.

Но они выросли: все болтавшиеся на площади красноармейцы стали в строй.

Перед ротами — Федор. Из шинелей сделано нечто вроде носилок и тихо покачивается на них неподвижное тело фантастического полководца.

Молодой красноармеец с прекрасной выправкой рапортует:

— Товарищ начальник! От всех красноармейских частей уполномочен заявить, что все в вашем распоряжении и ждут приказания.

— Хорошо. Прежде всего, товарищ красноармеец, под вашей командой и вашей ответственностью, выделите немедленно достаточное количество конной и пешей стражи и окружите городок, чтобы из штаба полковника не ускользнул ни один человек!

Смотрит Кузовков и не верит. Из-за соборной ограды показалась странная процессия: большая куча людей под конвоем, а впереди этого конвоя — прокурор с наганом в руке, старающийся шагать по-военному.

Подошла процессия. И рапортует прокурор не совсем, как военный, но уже близко к этому.

— Товарищ Кузовков. Вот вам почти все гнездо на-лицо. Нет, только, может быть, мелких рыбешек.

Молчит удивленно Кузовков. Понимает умный прокурор.

— Арестовал, собственно, я не я, а товарищи красноармейцы, — вот этот конвой. Они пришли требовать от полковника раз'яснения, почему в его штабе, именуемом „народной властью“, „народным советом“, вся власть отдана бывшим полицейским чинам, исправникам, зем-

ским начальникам и т. д. А я им только шепнул, что самым лучшим раз'яснением будет, если всю эту компанию, во главе с полковником арестовать, и доставить куда следует. Такие трусы! Красноармейцев двадцать человек, а их вдвое больше, но они сдались без единого выстрела. Самый храбрый человек из них — это казачок полковника. Этот казачок предлагал сопротивляться до последней капли крови. Полковник и казачок — сюда!

Выделились и подошли.

Взглянул Кузовков и опять сразу не поверил: стройный, красивый, лет 18-ти мальчик, в малиновом кавказском бешмете, — но это не мальчик, а с подстриженными волосами старая знакомка... Вера Васильевна!

Кузовков на минуту опустил голову:

Послышался тоненький горько всхлипывающий голосок.

„Уже плачет“ — брезгливо подумал Кузовков и поднял голову.

Женщина стояла смертельно бледная, но смотрела на Кузовкова гордо, прямо.

Тоненький всхлип принадлежал прокурору: он стоял над Федором, закрыв лицо руками и пошатываясь на ногах.

— Сударыня, вы должны умереть! Помните ваше письмо ко мне? Случайности прихотливы: вы очутились в моих руках, но и я легко мог быть в ваших. Надеюсь, что вы не унизили бы меня своей пощадой.

Рука Кузовкова с браунингом медленно поднималась к голове женщины.

Женщина подняла было руку, точно хотела оборониться, но это только на миг — руки опять опустились в прежнее положение.

И когда только ствол браунинга коснулся виска женщины — она чуть заметно вздохнула и закрыла глаза.

Твердо нажал Кузовков гашетку, другой рукой поддержал тело женщины, чтобы оно не упало в грязь, и брезгливо обратился к штабу полковника.

— Революционеры ценят мужество даже своих врагов. Вы — отвратительное перед женщиной скопище трусов! Вам не мешает ее похоронить, как следует,

чтобы чувствовать перед ней свое ничтожество, и это вам будет разрешено завтра под конвоем. Возьмите ее тело!

Ни один из штаба не тронулся. Стояли и переглядывались. Наконец, вышел один с низко опущенной головой.

Кузовков хмуро улыбнулся, поп—соратник Веры Васильевны, но только без волос и без рясы — по-военному облачен.

Взглянул Кузовков на полковника: фигура упитанная, бравая, молодцеватая, но лицо одутловатое, нос пуговкой выдается: часто, тупо, растерянно, виновато моргают неприятно отекшие, как у мертвого, веки.

Взглянул на Федора... Лежал „фантастический полководец“ все в той же чуйке: в валенках, гречишнике, с широко раскинутыми руками и то открывал на секунду-две глаза — горячечно-блестящие, мечущие гневно молнии, то шевелил пальцами так, точно орел — орел смертельно раненый, умирающий, но не сдающийся.

„И болезнь и рана в грудь одновременно — не выживет!“ — подумал Кузовков, и у него закружилась голова.

Хотелось махнуть рукой: без суда, без следствия, поставить сейчас же весь штаб с полковником во главе к стенке...

Но выдержка, дисциплина революционера—и спокойно, мерно, властно Кузовков стал отдавать распоряжения.

Через неделю Федор был перевезен в губернский город.

В течение двух месяцев он изжил горячку, изжил опасную для другого смертельную рану — и стал поправляться.

Поправлялся медленно, тяжело, но смеялся, что с таким другом, как „Петруша“, и с такой заботливой „мамашей“, как прокурор, он может еще так поболеть несколько раз — и не умереть.

И сердился, что он так долго болеет: столько работы, а он валяется!